

Политические противоречия

Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции)

Пьер-Жозеф Прудон

1870

От редактора электронной версии

Представляем вашему вниманию незаконченную работу П.Ж. Прудона, изданную уже после его смерти. В зарубежной библиографии она называется *Théorie du mouvement constitutionnel* (англ. *Theory of the Constitutionalist Movement*, рус. *Теория конституционного движения*). В электронной версии русскоязычного издания дореволюционная орфография заменена на современную для более комфортного чтения.

Свои замечания, пожелания и предложения оставляйте в нашем телеграм-канале.

Панда, Федерация анархистов

Оглавление

Федоров А.Ю. Прудон как критик конституционной системы

ГЛАВА I. Народ, который осудил свои учреждения

ГЛАВА II. Принесение в жертву династий

§1. Реставрация

§2. Июльская монархия

§3. Февральская республика

Глава III. Пятнадцать конституций французского народа, составляющая прелюдию шестнадцатой. — Европа и Америка в разработке конституций и реформ. — Всеобщий недуг

§1. Историческое обозрение французских конституций с 1789 по 1864 год

Глава IV. Общий критический взгляд на конституции

§1. Рациональная серия конституций французского народа, от 1789 до 1864 г.

Глава V. Общая критика конституций

Глава VI. Общая критика конституций

Глава VII. Разбор автократической конституции 1804 года

Глава VIII. Критика конституции 93 года

§1. Историческая картина избирательных систем, предложенных и осуществленных во Франции с 1789 года

Глава IX. Продолжение того же предмета: критика конституции 93 года

Глава X. Критика конституционной хартии, 1814–1830

Письмо к редактору газеты La Presse

Примечания

Прудон как критик конституционной системы

Пьер Жозеф Прудон (1809–1865) является одним из отцов-основателей анархизма как социально-политической теории и направления философской мысли. В отличие от многих видных теоретиков анархизма и марксизма, он родился в простой крестьянской семье. В молодости будущий основоположник анархизма пас коров и работал наборщиком.

Интерес к политике он стал проявлять с конца 30-х годов XIX века. Уже в 1840 году вышла в свет его знаменитая книга «Что такое собственность?», по праву считающаяся одним из классических произведений анархистской мысли. В этой книге Прудон обрушился на само понятие частной собственности, назвав ее «кражей».

В 1848 году П. Ж. Прудон принял участие во французских революционных событиях. В годы Второй республики (1848–1852) он активно печатался сразу в нескольких газетах, стремясь своими статьями оказать возможно большее влияние на формирование общественного мнения. За свои идеи Прудон неоднократно оказывался в тюрьме, что, однако, не заставило его отказаться от социалистических убеждений до конца жизни.

Теоретик французского анархизма был сторонником рыночной экономической модели, но при этом оставался социалистом и противником капиталистических отношений. Прудона нельзя назвать революционером. Скорее, он был приверженцем перехода к более справедливому обществу через проведение постепенных социальных реформ, среди которых важнейшую роль должно было сыграть создание «Народного банка», ориентированного на беспроцентный кредит. Этот банк он попытался организовать в 1848 году. Данное начинание, однако, не имело успеха. Между тем, его отношение к революции было более сложным, что позволило современным исследователям Петру Рябову и Александру Шубину, называть его не просто «реформистом», а «реформистским революционером». В частности в книге «Литературные майораты» Прудон писал: «если революция, доведенная до конца, способствует возрождению народа, то неудавшаяся революция неизбежно влечет за собою нравственное ослабление и упадок нации»¹.

К недостаткам работ самого П. Ж. Прудона стоит отнести такие моменты, как нега-

¹ Прудон П. Ж. Литературные майораты. — СПб.: Издание Жиркевича и Зубарева, 1865. С. 111.

тивное отношение к забастовочной борьбе наемных работников, излишнюю веру в возможность перехода к безгосударственному обществу через постепенные социально-политические реформы и негативное отношение к равенству между мужчинами и женщинами. Его патриархальное отношение к «женскому вопросу» было достаточно четко выражено в книге «Порнократия, или женщины в настоящее время».

Прудон был первым из социально-политических мыслителей, кто открыто назвал себя «анархистом», положив тем самым начало собственно анархистской традиции в социально-политической и философской мысли. Стоит отметить, что анархистские, либертарные идеи в виде целостной концепции были сформулированы несколько ранее, в Англии. Поэтому основателем анархизма по праву признается журналист, политический философ и автор ряда романов Уильям Годвин (1756–1836), не создавший прочной традиции, но, тем не менее, повлиявший на развитие дальнейшей социалистической мысли. Но в отличие от французского мыслителя он не называл себя «анархистом». Между тем, сам Прудон после событий 1848 года предпочитал именовать себя не анархистом, а «федералистом». Впрочем, понятие «федерализма» является одним из ключевых в коллективистском (собственно коллективистском, коммунистическом и синдикалистском) анархизме.

Стоит отметить, что французский анархист не только положил начало либертарной традиции, но также оказал влияние и на молодого Маркса. По мнению германского теоретика анархо-синдикализма Рудольфа Роккера (1873–1958) именно книга Прудона «Что такое собственность?» окончательно сформировала Карла Маркса как социалиста. Эту книгу он даже называл «первым научным манифестом французского пролетариата»². Впрочем, если еще на страницах книги «Святое семейство, или критика критической критики» (1845) Маркс положительно отзывается о Прудоне, то вскоре он изменяет свое мнение и старается в дальнейшем нивелировать в глазах читателей влияние, оказанное на него французским анархистом. Негативное отношение к Прудону сформировалось в нашей стране, преимущественно, как результат влияния подобных отзывов К. Маркса и его эпигонов. Ведь в 1930-е — 1980-е годы советские читатели могли познакомиться с идеями Прудона преимущественно через марксистские критические работы, и конкретно классическую книгу Карла Маркса «Нищета философии», написанную, как полемика против идей Прудона. В свою очередь французский социалист отзывался о данной работе Маркса как о сплетении «грубости, клеветы, фальсификации, плагиата»³.

Кроме книги «Что такое собственность?» среди важных произведений французского мыслителя стоит отметить такие произведения, как «Система экономических проти-

² *Rocker R.* Marx and anarchism (<http://flag.blackened.net/rocker/marx.htm>).

³ *Proudhon P.-J.* Philosophie de la misère. Système des contradictions économiques. Extraits. Т. 1. — Paris: Union Générale d'éditions, 1964. P. XV (цитируется по Шубин А. В. Социализм. «Золотой век» теории. — М.: Новое литературное образование, 2007. С. 98).

воречий, или философия нищеты» (1846), «Исповедь революционера» (1849), «О политической способности рабочих классов» (1865) и ряд других. Многие произведения французского анархиста были посвящены конкретным социально-политическим событиям текущего момента, и потому для современного читателя могут показаться несколько тяжеловесными, переполненными фактологическими данными и мелкими подробностями из реалий середины девятнадцатого столетия. Это обстоятельство затрудняет и исследование идей Пьера Жозефа Прудона, так как довольно часто свои анархистские, федералистские, социалистические мысли он высказывал в своих книгах как бы между делом, в промежутках между публицистическими размышлениями «на злобу дня». К тому же, многие из его наиболее значительных работ до сих пор не переведены на русский язык, что также затрудняет для российского читателя знакомство с идейным наследием данного автора.

Но к счастью для отечественного читателя, еще в начале XX века на русском языке были изданы книги, позволяющие ознакомиться с важнейшими положениями идей Прудона. Среди них стоит отметить книгу Джеймса Гильома «Анархия по Прудону», не переиздававшуюся с 1907 года,⁴ и работу Поля Эльцбахера «Сущность анархизма», последний раз переизданную в 2009 году издательством «АСТ».⁵ Несомненное достоинство книг Гильома и Эльцбахера в том, что авторы сумели в краткой и сжатой форме изложить основные идеи Прудона, хотя и несколько злоупотребляли при этом цитированием. Из современных авторов следует выделить российского историка, бывшего анархиста и одного из создателей Конфедерации анархо-синдикалистов (КАС) Александра Шубина, посвятившему анализу идей Прудона часть книги «Социализм. „Золотой век“ теории».⁶ В то же время эта книга имеет тот недостаток, что автор относится к французскому социалисту излишне апологетично, некритично оценивая его идейное наследие.

Перед вами книга «Политические противоречия. Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции)», одно из посмертно изданных произведений П. Ж. Прудона. Это критическое исследование полутора десятков французских конституций, или конституционных проектов, которые так и не были приняты, но рассматривались правительством с 1789 по 1864 годы.

Прудон отмечал, что все рассматриваемые им конституции делились на два типа: авторитарные и демократические. При этом он указывал, что они являются *взаимодополняющими друг друга*, в том плане, что имеют между собой чисто внешние различия. Ведь их противоположности служат одной цели — равновесию государственной политической системы как таковой. Отсюда он делал весьма характерный для анархиста вывод: нет принципиальной разницы, является ли власть аристокра-

⁴ См., например: *Гильом Д.* Анархия по Прудону. — Киев: Слово, 1907.

⁵ *Эльцбахер П.* Анархизм. — М.: АСТ: АСТ МОСКВА, 2009.

⁶ *Шубин А. В.* Указ. соч

тической, демократической, монархической или какой-либо еще, так как все эти разновидности систем политического управления являются частью единого политического организма, целью которого является защита политического равновесия, предотвращение революций (с. 50–55).

При этом Прудон не просто критикует «конституционную» систему организации власти, но и доказывает, что до тех пор, пока будет сохраняться централизованный характер управления различными сферами жизни общества, ни один даже самый добросовестный социальный реформатор ничего принципиально не сможет изменить. Вместе с тем демократической системе управления от него доставалось даже больше, чем автократии. По его мнению, если вторая «грешит против истины и фактов», то первая и вовсе «изменяет самой себе» (с. 104). То есть Прудон имел в виду, что демократия хороша только на бумаге (ее теоретические основы сильно расходятся с реальной политической практикой); в то время как автократическая форма правления просто расходится с действительностью в своей практике, при этом не вступая во внутреннее противоречие.

Между тем, в книге проявляются не только лучшие стороны прудоновской публицистики, но и отрицательные. Так, в конце своего труда автор приводит некую притчу, из которой выводит, что женщина лицемерна даже перед самой собой, стремиться лгать даже себе. В этой притче Прудон проводит параллели, сравнивая Францию с ее множеством конституций... с продажной женщиной. Суть же деятельности оппозиционных правительству парламентских политиков он сравнивает со сводничеством.

В любом случае, книга Прудона «Политические противоречия» отчасти актуальна и сегодня, хотя сам французский теоретик анархизма и писал о том, что, по его мнению, любая книга устаревает через 20–30 лет после написания. Актуальность заключается прежде всего в критике конституционной (и шире — политической) системы устройства власти как таковой: правящие режимы сменяют друг друга, но суть остается одной: меньшинство правит, навязывая свою волю большинству. Разница по сути лишь в том, что одни политические режимы открыто (порой — силой) навязывают свою волю, другие же — скрыто, через выборы, плебисциты и т. п., хотя в реальности все это является лишь иллюзией свободы политического выбора. Другое дело что народ и правда может верить в справедливость подобного мироустройства.

Андрей Юрьевич Федоров

ГЛАВА I. Народ, который осудил свои учреждения

Если есть стремление, в котором более всего обвиняется в настоящее время наша жалкая страна, то это без сомнения возвращение к доктринальному образу правления, или, выражаясь языком менее неблагозвучным, — к конституционной монархии. Франция и при Бурбонах, и при Орлеанах, и при Бонапартах, не делая никакого особенного предпочтения ни одной из этих династий, стремится организоваться сообразно идеям и нравам 1830 года.

Такой поворот к системе уже исчерпанной, сам по себе представляет аномалию и не достоин нации созревшей, здравомыслящей и обладающей собою. Нам необходимо подтвердить это фактами, тем более что подобное ретроградное движение, за которое Франция заслуживает упрека — не первое.

Вспомним, что плебисцитом 1851 года Людовик Наполеон провозглашен был президентом республики на 10 лет, с предоставлением ему права выработать конституцию на началах 1779 года, и что год спустя в лице того же Людовика Наполеона восстановлена императорская власть с сенатус-консультумом, имевшим целью сблизить конституцию 1852 г. с конституцией 1804 г. или, по крайней мере, согласовать ее с духом последней. Судя поэтому, можно было, и даже следовало, ожидать — если наполеоновские реформы удержатся — близкого и окончательного превращения французской демократии в цезаризм или, лучше сказать, осуществления великой идеи Наполеона I — создать третью империю, на западе. Если допустить гипотезу прогресса путем реставраций и ретроградных движений, то такой результат нельзя не признать естественным и я, признаюсь, вполне его предугадывал.

Однако вопреки всем соображениям, которыми по-видимому объясняется подобное превращение, аналогии между первой и второй империями не оказываются и даже можно сказать, что не взирая на тождество имени, титула и до известной степени самой формы, эти две системы не могут быть рассматриваемы как продолжение одна другой; их судьбы не связаны между собой; между ними нет даже сродства; это копия или подделка. Инициатива Наполеона III доказала это вполне. В то время, когда менее всего можно было ожидать, 24 ноября 1860 г. декрет его величества возвестил стране поразительное решение императора, в котором он вместо того, чтобы за одержанные им победы в Крыму и Ломбардии потребовать увеличения власти, казалось, заботился о том, чтобы сложить с себя долю её бремени; казалось,

трудная задача власти и сопряженная с нею ответственность слишком тяготили его; он приглашал народных представителей разделить с ним эту власть и призывал их к контролю, возвращал свободу слова и открывал трибуну; одним словом, он признавал, что условия правления в 1860 г. не представлялись уже такими, какими они были в 1804 году, и что система брюмера в приложении к декабрю уже более не действовала; это значило, что перед нами совершается историческая последовательность и факты не повторяются вполне.

Все это не было, конечно, объявлено официально и в таких ясных словах, которые употребляю я. Выражения, употребляемые властью, редко объясняют истинный смысл её действий; чаще она и сама не вполне сознает их значение. Но кто умеет понимать, тому достаточно одного намека; известно, что в политике даром слова пользуются часто только как средством скрыть истинные намерения; дайте мне только текст закона, а я сам уже выведу сущность его мотивов. Император Наполеон, чувствуя себя обиженным частым повторением доходившего до него ропота, что Франция умерла для политической жизни, что сенат сделался сборищем немых, что законодательный корпус, не представляя мысли страны, не был провозвестником истины и т. п., как будто хотел доказать положительным актом, что, говоря риторически, вопрос жизни и смерти для Франции зависит от него, и что если он имеет власть убивать, то может и воскрешать. Но эту благотворную мысль нового декрета приписывали исключительно высокому уму, великодушию и либеральному направлению государя.

Дело в том, что условия развития, в которых нашел Францию основатель второй империи, далеко не были таковы, как в 1799 и 1804 годах; это ясно для всех. Напротив, с 1814 года политический и социальный организм Франции совершенно изменился и Наполеоновская идея, которая должна была обновить все, оказалась бессильною и развращенною во всех отношениях. Лишь социалистический террор едва напомнил собою прежнее время; все чувствовали себя накануне общего переворота и старались найти пример в прошедшем.

«Властителя! Властителя!» кричали все в один голос, и герой 2-го декабря, подобно тому, как было во время брюмера, явился спасителем страны. Но едва рассеялся этот нелепый ужас, как увидели, что ничего нет угрожающего и нового, и Наполеон III, поставленный в положение лучшего наблюдателя, должен был первый познать действительный порядок вещей, что он и сделал, издав, помимо всякого ожидания, декрет 24 ноября.

Таким образом, нужно было девять лет, чтобы убедиться, что 1848 год не передвинул оси цивилизации и что пятились совершенно напрасно.

Как бы то ни было, но декрет 24 ноября сделался для нации, так странно одурившейся, как-бы сигналом пробуждения; по несчастию, в 1848 году, умы всех были до такой степени предупреждены, что сначала не поняли даже, в чем дело, и в то время как страна в сущности только желала подвигаться вперед, влияние

традиций заставило ее свернуть с большой дороги. С одной стороны не хотели республиканской конституции, потому что государственный переворот был против республики, с другой стороны декретом 24 ноября рушилась конституция 1852 года. К этому следует прибавить, что для будущих действий не было никакой программы; затем понятно, каким образом страна, почти сама того не желая, вернулась к 1830 году. Странно, что конституционная монархия, одинаково ненавистная и республиканцам, и империалистам, случайным образом снова делалась объектом политики нации, заступив место республики, которая была уничтожена насильственно, и монархии, которая сама подняла на себя руку. Но того ли хотел творец закона 24 ноября? Без сомнения, нет: намерение его было — ослабив немного поводья, переменить лишь аллюр, но ни в чем не изменять хода самой колесницы. Наполеон III, сделав свою осторожную уступку необходимости и обстоятельствам, хотел ввести свою конституцию в её духе и букве, но применяя ее, он допускал кое-что изменять. Императорская идея, по всей вероятности, не заходила далее этих изменений, но и в этом обнаружилась очевидная для всех ошибка.

С системой нельзя поступать произвольно, даже её творцу; ничто не имеет такой непреклонности, непоколебимости и цельности, как система. Человек, в силу своей свободной воли, может говорить и отказываться от своих слов; может видоизменять свои слова, мысли, волю и действия до бесконечности; жизнь его есть цепь постоянных столкновений и соглашений с себе подобными и природой. Напротив того, идея, теория, система, учреждение, договор и все, что из сферы идеи или логики перешло в состояние формы и выражения, становится вещью определенной, законченной, вещью ненарушимой, не обладающей податливостью и гибкостью, вещью, которую нельзя ни в чем заменить другой, которая, оставаясь сама собою, никогда не делается чем-либо другим.

Конституция, например, должна быть или всецело уважаема, или всецело отвергаема: середины здесь нет. Можно, правда, из двух противоположных конституций выкроить сколько угодно средних; но каждая из таких средних конституций будет творением новым, отличительным и исключительным, в котором было бы нелепо стараться совместить непримиримые между собою начала, каковы принцип парламентарный и императорская прерогатива. Воображать, что можно по произволу вводить в известную политическую систему различные изменения и что в этом именно заключается прогресс, значит идти по ложной дороге; это значит выйти из пределов права и знания и броситься в произвол.

И так, я говорю, что конституция 1852 года совершенно различна от конституции 1830 года, что они не согласимы между собою и что плодом декрета 24 ноября, предоставившего законодательному корпусу и сенату некоторые из прав, которые обеспечены были за ними хартией 1830 года и затем отняты конституцией 1852 года, было то, что в стране поднялась болтовня, исполненная обманчивых надежд — во всем, что касалось империализма, и самых ретроградных стремлений — на

случай перемены во власти.

Теперь страна находится в движении и никакое давление не в силах ее сдержать; чем более стараются сдерживать ее сверху, с помощью ли сената, или законодательного большинства, с помощью ли журналистики и даже речей самого императора, тем более она рвется к цели своих страстных стремлений, которые делаются еще яростнее вследствие того, что имеют обаяние антагонизма между правительством и народом. Мы видим уже, что идея, которую считали умершей, напротив и пользуется успехом, и не имеет недостатка в аргументах; власть, свернув с дороги, своей недалекновидностью, своей рутинной сделала все, чтобы воскресить эту идею.

Посмотрите, что происходит вокруг нас, послушайте, что говорится. Не найдем ли мы доказательств того, что нация ныне очутилась лицом к лицу перед конституцией 1814 года? Все сознают, что ныне уже невозможно довести реставрации бонапартизма до его последнего вывода, т. е. до конституции чисто автократической, какова конституция 1804 года; не менее очевидна также противоположность военного порядка с обществом промышленным и буржуазным; около себя мы видим прогресс свободы или лучше сказать — европейскую федерацию, как противоположность развития империализма; перед вами разность систем различных стран, которые, постоянно сталкиваясь друг с другом, призваны следовать по одному пути; мы постоянно имеем перед глазами невыносимое для нас сравнение личного правительства, утвердившегося во Франции, с правительством парламентарным, принятым в большей части европейских государств; наша невежественная демократия не способна провести идею и составить персонал республики; мы оказываем самое благосклонное расположение к лицам, которые так долго и так блистательно служили прежней системе и которые сомкнулись под девизом *легальной оппозиции*, привлечшим к себе даже некоторых избранников, которые еще недавно выказывали себя представителями республиканской идеи; наши старые и новые парламентаристы без отвращения приносят присягу — этот династический символ, и как будто говорят императору: «будьте нашими руками, а наши сердца принадлежат вам»; избирательные массы внезапно соединились под либеральным знаменем Жирардена, Гавена и Геру — друзей империи; в циркулярах Пелльтана появился буржуазный девиз: «свобода, общественный порядок»; наша трибуна находится в вынужденной и многозначачей сделке с правительством; Тьер произносит необыкновенно эффектные речи и делается героем настоящей минуты, героем, за которым потянулось бы большинство законодательного корпуса, если-бы это было возможно, подобно тому, как это делает волей-неволей меньшинство. И много бы можно было привести таких симптомов; но выставлять их было бы утомительно. Все это в совокупности не доказывает ли того, что система 1814 года, исправленная в 1830 году, не смотря на всеобщую подачу голосов, изменившую условия правительства, сделалась фантастическим объективом политики нации?

И в правительственной сфере обнаруживается то же стремление. Нет сомнения, что конституция 1852 года имеет своих энергических сторонников; есть даже такие, которые не хотели бы декрета 24 ноября. Но эта крайняя приверженность

обнаруживается только в самых горячих друзьях, золотая же середина сносит его; и если трудно утверждать, что сам глава государства решился примкнуть к этой золотой середине, то нельзя однако сказать, чтобы он и отрицал ее. Но положительно верно лишь то, что приверженцы разделились на два лагеря: характер прений в сенате и в законодательном корпусе; уступчивость, с которою правительственные ораторы относятся к оппозиции; этот взаимный обмен любезностей; предупредительность; уверенность в том, что все старые партии превратятся в одну громадную бонапартистскую партию, как скоро власти угодно будет внять голосу их мольбы, и вообще все, что происходит в высших сферах правительства и в самых глубоких залежах населения, — все ясно показывает, что февральская Франция, сделавшись охотно Францией 2 декабря, — от чистого сердца готова восстановить июльскую Францию.

Таким образом мы в одно и то же время отрекаемся и осуждаем: во первых все, что составляет наполеоновскую идею, в пользу которой в 1848 г. мы подали 5.600,000 голосов, в 1851 — 7.500,000 и в 1852 — 7.824,189, и которую мы ныне оставляем; и во вторых конституционную монархию, низвергнутую и обесчещенную в 1848 году, и восстановления которой мы теперь желаем. Я ничего не говорю о республике, которую мы также прежде приветствовали, потом отвергли, в промежуток между конституционной монархией и второй империей, и одно имя которой возбудило бы только воспоминание о нашей низости и изменах. Когда я думаю о республике, мною овладевает отвращение к моей стране, и я стыжусь быть французом; поэтому предпочитаю молчать.

Когда в 1848 году так-называемыми республиканцами, управлявшими тогда делами, был издан декрет, которым династии Бонапартов разрешалось возвращение во Францию, а династии Бурбонов и Орлеанов изгонялись, когда затем Людовик Наполеон был выбран президентом республики при дружных рукоплесканиях консерваторов, демократов, буржуазии, духовенства и войска, — страна и власть понимали всю важность этого акта и очень хорошо знали что значит имя Бонапарта и каков был Людовик Наполеон; все тогда предвидели повторение брюмера, а за ним новую конституцию 8-го года — прелюдию к новой империи. Действительно в 1851 и 1852 годах все сомкнулось вокруг нового императора, и восстановление учреждений империи было принято. Отвергать это безрассудно. Но мог ли кто-нибудь во Франции верить тому, что положение дел останется таковым, каково оно было, и после декрета 24 ноября, после выборов 1863 года и последних прений законодательного корпуса, в виду усиленного движения умов? Нет! Следовательно Франция осудила 2-е декабря, если не относительно личности, то относительно системы. В 1852 — общее голосование дало в пользу империи 7.824,189 утвердительных голосов против 253,145 отрицательных. В 1863 году те же избиратели дали в пользу правительственной кандидатуры не более 5 миллионов голосов, а в пользу оппозиции 2 миллиона. Таким образом Франция произнесла свое осуждение. В 1852 году все смеялись над свободой и либерализмом, как над вольнодумством, теперь же высшие должностные лица империи говорят о свободе, подобно Тьеру, Гавену и

Жирардену. Это также есть осуждение.

Не было ли однако императорское правительство виновно перед общественным доверием, причинив своею политикою такой поворот в общественном мнении? Ниже мы будем анализировать это правительство и рассмотрим главнейшие из его действий; мы сравним его с июльским правительством и докажем, что если эти два правительства мало схожи между собою, тем не менее одно другого стоит. И это в своем роде осуждение!

Обратимся к июльскому правительству. Разве оно не упало в грязь? Разве страна не питала отвращения ко всем парламентским турнирам, к министерским интригам, к шуму оппозиции, системе выборов, точно также как и к самому Людовигу Филиппу и Гизо? Разве разврат и корыстолюбие были тогда чужды высших правительственных сфер. Национальное негодование, конечно, не довело бы 21 Февраля дело до республики. Французский народ, недовольный существующим правлением, вовсе не думал, как это обыкновенно бывало, о замене его новым, и еще накануне катастрофы нисколько не мечтал о республике; но как скоро республика была провозглашена, несмотря на то, что внушала мало доверия, все единодушно признавали, что случившееся было только справедливостью по отношению к падшей системе.

Однако, нас быстрыми шагами снова приводят к системе камарильи, интриг, лести, разврата и трусости. Но что я говорю — приводят: мы уже до половины погрязли в ней; после того, что произошло со времени открытия палат, нельзя сказать, чтобы страна управлялась только одною конституцией 1852 года; легитимисты, орлеанисты, демократы, бонапартисты, оппозиция и большинство, сенат и законодательный корпус, высшие должностные лица, принцы крови, журналистика официальная и независимая, все совались принять участие в управлении. Если бы пустить на всеобщее голосование вопрос об учреждении конституционной империи, только бы администрация предоставила этим выборам некоторую свободу, в пользу реформы собралось бы 18 миллионов голосов. Это также было бы осуждением. В 1848 году Гизо пал; в 1864 полное торжество того же Гизо и торжество тем более знаменательное, что оно послужило бы в пользу династии, призванной в 1848 и в 1852 годах, как выражение противоположной системы. И это также разве не осуждение? На какой же из двух идей остановимся мы? На идее 1799 или 1830 года? И если, верные нашему прежнему взгляду, мы не хотим ни той, ни другой, какой принцип думаем мы принять, что будет вашим *profession de foi*?

Но к чему осыпать насмешками самообольщенный, ослепленный собою народ, который никогда не отличался ни рассудительностью, ни способностью раскаяния. В нашей истории последних 15-ти лет, конечно, много такого, что могло бы заставить

нас быть скромными.

Гений французского народа и достоинство нации помрачились. Не будем же хвастаться тем, что мы руководим движением и стоим в главе цивилизации. Мы пали в нашей революционной задаче, мы выродки 89 года: в Европе есть великие державы, — но нет более великой нации...

Однако, не будем ничего преувеличивать! Один народ не в силах сделать то, что требует усилий всего человечества. Мы не можем спастись без помощи, точно также как и другие не спасутся без нас. Эта бесплодная агитация, эти унижительные отступления, это печальное падение суть также симптомы всемирного разложения. Но не будем еще отчаиваться, не будем вдаваться в мизантропию, которая также есть ничто иное, как своего рода гордость и тщеславие. Мы воображали, что конституции импровизируются, и наша надменность была жестоко наказана. Сознаемся в нашей ошибке, — и если мы хотим, чтобы сознание этой ошибки послужило нам в пользу, обдумаем ее как урок судьбы, или как совершившийся прогресс.

Я показал вам, читатель, что такое народ, который осуждает свои учреждения; теперь я покажу вам, что случается, когда, закоснелый и преисполненный ложных воззрений, он отказывается от подобного суда.

ГЛАВА II. Принесение в жертву династий

В одном из последних сочинений (Перестали ли существовать трактаты 1815 г.), напечатанном по поводу последней декларации императора об этих трактатах, я нашел, — на что весьма немногие обратили внимание, — что 1814-й год составляет в новейшей истории исходную точку политической эры, которую я называю *эрой конституций*. Действительно, только с этого времени начинают овладевать умами и переходить в действительность идеи рационального и регулируемого образа правления.

Рационализм и наука нераздельны между собою. То, что до сих пор среди народов проявлялось как продукт инстинкта, теперь делается исключительным результатом знания, проверенного опытом. Наука едина — как едина истина и едина справедливость: естественно поэтому стремление новейших наций обоих полушарий устроиться по возможности по одному и тому же типу; как кажется, все человечество хочет слиться под одну конституцией.

Между многочисленными системами правления, которые представляет нам история и философия, в Европе более всех приобрела сочувствия и признана наиболее согласно с разумом науки, более других примиряюще все разногласия и более всех гарантирующе интересы и свободу и вместе с тем порядок — конституционная монархия, представительная, парламентарная. Венский конгресс, удовлетворяя нашему требованию и под давлением необходимости, сделал из хартии неперемное условие, чтобы законная династия возвращена была для сохранения европейского мира. Это было как-бы внутреннее равновесие, призванное для того, чтобы быть ручательством равновесия международного.

В скором времени, по обеим сторонам Атлантического океана, все государства и древние, и новые, по нашему примеру, последовательно совершили подобные же преобразования, так что, в течение менее полувека, конституционализм, в различных формах, обнял почти весь цивилизованный мир, — и все народы, сохранив неприкосновенными свою свободу и автономию, могли почитать себя связанными между собою политически более тесно, нежели в религиозном отношении. Всемирное братство, приветствуемое в 93 году, достигло полнейшей реализации.

Тем не менее, все это было только начало, ожидающее санкции опыта. Без сомнения, венский конгресс вовсе не имел в виду гарантировать преимущество какой-либо системы, и было бы столько же нелепо упрекать его в неудовлетворительности конституционализма, сколько обвинять его в более или менее неудачной переделке

карты Европы. Предмет трактатов был двоякий: 1) возвести в основной закон международное равновесие, что открывало возможность территориальных изменений, когда это окажется необходимым; и 2) основать правительственный рационализм и политическую науку, дав народам гарантии, которых требовало развитие идей, гарантии, из которых главнейшая заключалась в признании за народами права изменять, когда укажет необходимость, их собственные конституции.

До сих пор неизменяемость государства, неподвижность его принимались а priori, как догм; теперь эта неизменяемость, сделавшись достоянием науки, исследований и опытов, принимается уже не более как последней ступенью политического усовершенствования. Думали, что венским конгрессом и хартией положен конец революции; в действительности же ее только увековечили; и нам суждено было усвоить в жизнь эту непрерывную революцию, даже под опасением от неё погибнуть.

Реставрация

Развитие либеральных идей шло быстро. Французский народ, между прочим, увлекся хартией, питая к ней сначала безграничное доверие; и как древнее божественное право было продуктом веры, так и конституционное право, в свою очередь, исключало всякую тень сомнения. Все затруднения исчезали под эгидою хартии, решительным образом принятой и честно исполняемой. В течение некоторого времени Франция, преданная этой хартии, считала себя роялистскою, примиренною с самой собой, возвратившеюся на путь истины после 25 лет безумствования и преступлений. Она благословляла своих законных государей, мучеников горьких заблуждений; прошла деспота, железное царствование которого замедлило на 15 лет драгоценные гарантии свободы; возненавидела революцию, крайности которой помешали этим гарантиям. Религия воспользовалась этим политическим раскаянием и процвела вновь, как в самые счастливые дни церкви; и реставрация, казалось, навсегда утвердилась. Но, увы! иллюзия была кратковременной. Мы должны были вскоре узнать, в ущерб себе, что создатель, отдав созданный им мир и самую революцию — также выражение его воли, — на суждение людей, не исключил из этого и измышлений нашего бедного разума. Мало по малу стали замечать, но не сознавая в этом, что бессмертная хартия представляла поводы к недоразумениям, что почти каждое из её постановлений возбуждало целую пучину сомнений и толкований, одним словом, что этот миротворный рационализм, казавшийся столь либеральным и философским, представлял из себя арену для разногласий. Повсюду чувствовалось тяжелое судорожное настроение; появлялся грозный антагонизм; вместо того, чтобы рациональным образом исследовать сущность организации, как бы это следовало, и открыть её несостоятельность относительно науки, начали обвинять и подозревать друг друга; вымеривая друг

друга глазами, с правой стороны кричали о заговоре и цареубийстве, с левой о тирании и привилегиях. Те, которые совместно с королевской властью, дворянством и церковью, отвергали научный, либеральный и часто человеческий принцип революции и замыкались в понятиях о власти и законе, те, конечно, не могли видеть в новой хартии — в этом недостаточном и двусмысленном выражении революционного права — что-либо другое, как только адскую машину; а потому возможна ли была для них критика? Каким образом на них, недостойных эту хартию даже чести быть философски исследованною и не находивших для того достаточно данных, — могли смотреть иначе как не подозрительно, как не на врагов порядка и общественной свободы? Что же касается до других, которые вскоре сделались значительным большинством и стали на противоположную точку зрения, то и они также не допускали рассуждений. Отвергать хартию, этот монумент современной философии и продукт опыта нескольких веков, считалось верхом заблуждения. «Не хранила ли эта хартия в своих основах человеческий разум, который также исходит от Бога, как и откровение, с начала веков, и согласие которого с верою провозглашает ежедневно обновленная церковь? Допуская верховную власть народа — не признавала ли эта хартия законности и авторитета короля? Рядом с свободной философией не провозглашала ли она религии Христа религией государства. Наконец, рассматриваемая по отношению к её духу и во всех её частностях, не была ли она как-бы конкордатом 1802 г., как-бы союзом папы с Карлом Великим, как-бы самим евангелием, в смысле возобновления вечного союза между Богом и человеком.»

Вот что говорили в 1820 г. партизаны хартии и это же повторяют они и теперь. Да и как этим либералам, ставившим себя выше парламентского контроля, могла прийти мысль о конституционной критике. Гг. Гизо и Тьер и им подобные разве дошли до этого хотя теперь. Нет, они скорее предпочитали обвинять исключительно консервативные страсти, упорство королей, нетерпимость церкви, или ложность принципов божественного права и т. д., нежели предполагать какие-нибудь недостатки в новоизобретенной системе. Странное дело — люди также верят идолам своего разума, как и идолам инстинкта! Хартией, этой политической гипотезой, клялись точно также, как прежде клялись евангелием! А законного короля, творца этой хартии, называли изменником и вероломным!..

Конечно, в эти смутные времена многое происходило от ошибок самих правителей; но кто из последующих поколений осмелится бы утверждать теперь, что наибольшее зло таилось в самой несостоятельности системы?

Известно, каким образом окончилась эта борьба. Большинство членов палаты переменило свои места; когда центр тяжести правительственной власти отодвинулся в левую сторону (221 против 219), Карл X думал, что в силу 14 статьи хартии он имел право с помощью своей прерогативы уравновесить эту разницу: он хотел управлять против большинства. Роковые приказы были отданы, и Париж восстал, при криках:

«да здравствует хартия!»

Затем, — так как победа никогда не теряет своих прав, — династия была низвергнута и заменена другою; пункт 14 хартии изменен; католицизм объявлен просто религией большинства французов; избирательный ценз понижен; одним словом — конституция очистилась от тех двусмысленностей, противоречий и крайностей, которые по сознанию самых искренних её защитников затрудняли правильное её развитие.

Ни в чем так не проявлялся этот конституционный фетишизм, как в остервенении, с которым преследовали членов династии и всех тех, кого подозревали во вражде с этим фетишизмом. Конечно, в 1814 г. прежде всего требовали освящения социальных принципов 89 г. Что же касается самой организации правительства, то на монархию смотрели как на необходимую форму этих принципов и как на существенное их условие. Это было триумф законности.

За что же после этого такая ужасная и оскорбительная ненависть к старому Карлу X? Верил ли он в то, что монархический принцип мог быть совместим с основами парламентарной системы? И когда он, как монарх, пробовал отстранить удар оппозиции, на половину искусственной, то скорее можно допустить, что он действовал по логике своего принципа, чем обвинять его в гнусном клятвопреступлении? Зачем впоследствии, когда король и дофин подписали свое отречение, вместе с ними изгнали герцога Бордосского, их племянника, восьмилетнего ребенка, и его мать, герцогиню Беррийскую, благоприятствовавшую либеральной партии? Это не было следствием ненависти к королевской власти, потому что династия Бурбонов была тотчас же заменена династией Орлеанской. Предполагали ли, что старшая династия носила в крови своей, как неразлагаемый яд, отвращение к хартии? Вспомним при этом, что в 1793 году Людовик XVI и Людовик XVII, в 1815 г., после Ватерлооского поражения — Наполеон I и Наполеон II были жертвами подобного же политического и вместе мистического безумия. На конституционную систему смотрели как на религию, и всякое посягательство на её святость было наказуемо как святотатство.

Таким образом принесли в жертву королевскую династию; создали династическое соискательство; унизили королевскую власть; уничтожили значение высшего класса по природе консервативного, но для того лишь, чтобы возбудить страсти среднего класса. И все это для того, чтобы прославить и утвердить известную метафизическую формулу.

Июльская монархия

Изгнание старшей линии не было нашей последней конституционной трагедией.

В 1830 г. вера в хартию была полная; некоторые отдельные гениальные личности предвидели смуты, но масса населения нисколько не сомневалась в истине и действительности идеи; нужно было только найти верных людей, которые могли бы дать ей надлежащее осуществление. Жизнь обществ преимущественно поддерживается верою и единодушием масс. Почему, например, 15 лет реставрации были самым счастливым периодом из рассматриваемого нами времени, начиная с 89 г.? Только потому, что это были времена веры. Первые десять лет правления Людовика Филиппа были еще сносны. Удивлялись этому разумному равновесию, с которым определены были с такою точностью отношения и права разных властей между собою, — которое согласовывало свободу и вместе с тем власть, которое соединяло консервативную осторожность с стремлением к прогрессу. Буржуа, не тревожимый более призраком дворянства, гордился своим избирательным правом и усердно исполнял свои обязанности. Такие гражданские качества, конечно, обещали долгие дни новому порядку. Национальная гвардия, рука об руку с своим государем, защищала конституцию неодолимым щитом. Каждый простолюдин спокойно стремился принять участие в политических делах государства, получал ли он это право путем материального достатка, честным образом добытого, или же ему открывало к этому дорогу новое благодеяние законодателя, понизившего избирательный ценз; такое законное честолюбие конечно не развращало, а возвышало дух народа. В такой прогрессивной равномерности разделения власти рады были видеть возможность лучшего распределения богатств, гарантию нравственного развития и залог ненарушимой прочности мира внутреннего и внешнего.

Радость вслед за июльской революцией была всеобщая и все без различия плотно сомкнулось около новой династии. Конституционная система, усовершенствованная сообразно с духом последних споров, имея в главе короля-философа, сражавшегося в 92 году за свободу и понимавшего смысл хартии, считалась монархией, окруженной республиканскими учреждениями.

Лафайет, показывая Людовика Филиппа народу, называл его лучшим из республиканцев; никогда движение не было более национально, более грандиозно. Всем этим европейские народы были обмануты: все приветствовали стойкость и умеренность французского народа; те, которые могли — последовали нашему примеру, верили в энергию нашего характера, в серьезность наших решений, также как в действительную силу нашей системы. Лишь немногие замечали, что июльская революция, которая казалась мстью права против безрассудного деспотизма, была только кризисом, в котором во всем блеске выказался антагонизм системы и потребностей, и что Франция, искренно воображавшая себя монархическою и в которой на каждом шагу и везде открывались обломки прежней иерархии, положительно клонилась к смешанному демократизму, в котором порядок мог

держаться лишь посредством диктатуры, в котором коалиция капиталов стремилась создать новый феодализм, в котором труд ожидало порабощение, более нежели когда-нибудь, и в котором следовательно свободе угрожала близкая гибель. Впрочем, если бы страна и прочла на страницах хартии приближение такого великого социального переворота, никто бы этим не встревожился. Сказали бы все в один голос, что демократия есть равенство, и приняли бы с большим удовольствием такое предсказание; в нем увидели бы доказательство непогрешимости системы и провозгласили бы ее с восклицаниями, облекая хартию в старинную монархическую формулу: кто поддерживает конституцию, тот друг прогресса. Каково же было разочарование, когда увидели, что обновленная хартия 1830 г. произвела под управлением популярной династии гораздо худшие результаты, нежели при династии законной. Чем более вопрошали эту хартию, тем более порождала она противоречий между властью и свободой, королевской прерогативой и парламентской инициативой, между правами буржуазии и свободой народа. Десять лет спустя после июльского переворота, политическая вера умерла во французской буржуазии. Воспоминания об этой эпохе еще весьма свежи: не представляли ли парламентские прения длинного ряда смут, порождающих каждый день новые скандалы; не был ли король Людовик Филипп еще более непопулярен, ненавистен и оскорбляем, нежели Людовик XVIII и Карл X; учреждения, вместо того, чтобы развиваться свободно, не развивались ли как-бы насильственно; правительство не выродилось ли в партию царедворцев; развращение нравов не проникло ли в выборы, в администрацию и палаты? В то время как трудящаяся масса населения, в своем наивном веровании стремилась к политической жизни, — консервативное большинство не пускало ли в ход свои привилегии, замышляя, вместе с правительством, разрушение учреждений? Люди реставрации, в ревностном рационализме, забыв, что они дети церкви, отличались полнейшим индифферентизмом в религии, но их политические убеждения вследствие этого были еще пристрастнее, современники же 30-х годов отмечали свою деятельность лицемерием и развращенностью. Начиная с 1840 года, июльская монархия, чувствуя, что умирает убитая скептицизмом, нашла себе убежище в вере: она сделалась, на сколько могла, quasi-законною, она показывала вид, что держится старого порядка, обнаруживая тем ложность своих собственных принципов. Судьба ее скоро была решена.

В 1848 году, также мало как и в 1830 году, задавали себе вопрос о том, не кроется ли причина беспорядка менее в недостатках самой конституционной организации, сколько в бессовестности правителей, не был ли прав тот, кто прокричал, что «законность убивает нас», и не выразил ли он в этом глубокую истину; и в то время, как обвиняли министерство, оппозицию и министров, монархию и демократию, народ и правительство, не были ли все вообще обмануты какой-то галлюцинацией? Как в 1830 г. обвиняли страну за ее преданность законности, точно также и в 1848 году; поколениям этих двух эпох нельзя отказать в той чести, что они поверили, что отечественные учреждения, во всем, что относится до основных принципов и существенных форм, были непогрешимы. Эти два одновременные движения поколебали королевскую власть; демократия взяла верх, и вторично приступили к

пересмотру конституции.

Самая печальная сторона этого дела была та, что эти тридцать три года конституционного порядка были совершенно потеряны для политической науки: ни одной замечательной мысли не было высказано с трибуны ни относительно хартии, ни относительно основ общественной жизни, или государственной организации; критика нападала на министерство, но всегда держалась начал данной конституции; никогда она не возвышалась до философского анализа самой конституции. В этом отношении в 1848 году еще менее ушли вперед, чем в 1814 году: действительно в начале реставрации все допускали, в отношении к правлению, компетентность разума; верили в осуществимость доктрин, в знание; а в 1848 году не верили более в это.

Напрасно школы социалистов провозглашали социальную науку; кроме того, что их и вообще не были расположены слушать, — они только еще создавали свои гипотезы, только еще начинали прилагать свои догматы. Общественная мысль была развращена. Странно было действие парламентарной системы, которою так злоупотребляли с 1830 г.; по отношению к обществу и правительству не допускали *ни религии, ни права, ни науки* ; верили только в *искусство*. И массы склонялись к этому, как это в сущности и всегда бывало. Для них политический гений заключался в высшей степени честолюбия и в смешении смелости и ловкости. Со смерти Казимира Перье власть нечувствительным образом преобразилась в художество; но еще шаг, и она упала до газрства. Если еще держались политической веры, то это был маленький кружок республиканцев, составлявший меньшинство в республиканской партии. Однако и этого остатка веры было достаточно для того, чтобы установить республику. Посмотрим, каким образом это было сделано.

Февральская республика

Какова была буржуазия 1830 года, верящая в свои учреждения и потому самоуверенная, таковою же показала себя и демократия 1848 года. Люди Февральской революции все почти были свидетелями падения первой империи; они присутствовали при прениях реставрации, сражались в июле, следили за спорами палат 1830 г.; они изучили революцию более, чем это было до них, — в её декретах; при таких обстоятельствах они казалось должны бы быть более осмотрительны, но ничуть не бывало: подобно своим предшественникам, они ни в чем не сомневались и постоянно были исполнены иллюзий.

Февральская республика была ничто иное, как продолжение июльской монархии,

mutatis mutandis, exceptis excipiendis.

Они думали, что весь вопрос состоял лишь в том, чтобы упростить общественную связь путем уничтожения королевской власти, сделавшейся невозможным органом, развить некоторые принципы, которые до сих пор применялись только на половину, ограничить некоторые влияния, еще уцелевшие от прежнего времени и пощаженные как необходимая переходная ступень. И так, республика была провозглашена как следствие догма самодержавия народа; право всеобщей подачи голосов получило окончательное применение, как необходимое последствие другого принципа — безусловного равенства перед законом и как дополнение к реформе избирательной системы 1830 года; обе палаты соединены в одно собрание представителей, избранных непосредственно народом, так как аристократический элемент не допускается в демократии.

Все эти реформы относительно логичности были безукоризненны. Революция 89 года выработала главные их основания; хартия 1814 года признала их данные, а хартия 1830 года не затруднилась определить окончательное их положение; — демократия с полнейшей искренностью преследовала то движение, которое 33 года тому назад начато было людьми, отступившими перед своим собственным принципом и ставшим в ряды её противников. Но это была лишь логика школьников, несчастная рутина. Февральские учреждения были, как и многие другие, попыткой, сделанной на авось. Скажу более: если бы основатели февральской демократической республики были действительно свободными мыслителями; если бы, провозглашая человеческий разум и человеческое право, они наиболее понимали законы их, они увидели бы, что их республиканская конституция, выродившаяся непосредственно из двух последовательных монархий, была не более как крайней нелепостью.

Реакция против республики 1848 г., без сомнения, началась вместе с учреждением этой республики, и было бы излишне отвергать это; она рушилась — эта республика, скорее от интриг своих бесчисленных врагов, нежели от своей собственной утопии. И наконец, я спрашиваю демократов, разве со времени 1848 г. их политическая вера не была потрясена? Сохранили ли они веру в народный патриотизм, в разумность массы и в непоколебимость её нравственности? Ограниченному избирательному цензу ставили в упрек легчайшую возможность подкупа, но разве не было десять раз доказано, в течение последних 15 лет, что несравненно легче обольстить 7,000,000 избирателей, нежели подкупить 2,000,000 их? Февральской конституции предсказывали долгое существование, основываясь на внешней тождественности слов: демократия и республика; но разве выборы 10 декабря 1848 года, составившие так сказать прелюдию событий декабря 1851 и 1852 г., не ясно выказали склонность народа к тем же замашкам, которые приписывали государям, и вкус народа к абсолютизму? Разве мы не видели опять те же партии, интриги, реакцию и гнет, междоусобицу, ссылки и избиение, истязания, и наконец Кавеньяка — человека, которому партия буржуазии поручила задавить народную партию, который сделался кандидатом на президента республики и потом своей же партией был выдан как убийца народа. К чему послужили и единство национального представительства, и

подчинение исполнительной власти законодательству, и конституционные гарантии, и развитие свободы? — Толпа, в которую входили все классы общества, все это не ставила ни во что; после 2 декабря, также как и после 18 брюмера, она рукоплескала изгнанию адвокатов, безмолвию трибуны, стеснению прессы и закону об общественной безопасности; с равнодушием смотрела на изгнание и разорение сотни тысяч граждан, самых храбрых и самых преданных республике. Не будем более говорить о той странной политике, которой она держалась в течение 10 лет и которая обнажила ее совершенную неспособность и её отвратительные инстинкты. Теперь она ищет других наслаждений, теперь ей нужна *оппозиция*, хотя бы ее пришлось искать среди изменников республики, среди защитников империи, в Пале-Ройяле, или в самом Тюильри; она услаждает себя болтовней; она делается формалисткой и осмеливается говорить о свободе! Пусть попробовал бы *избранник народа* удовлетворить теперь этот *народ* — создавший его, или по крайней мере удержать его! Но в настоящее время, более нежели в 1814 году, единственное спасение для французского народа — в разуме, а мы почти потеряли способность рассуждать. Идеи сделались для нас неудобоваримы, мы удовлетворяемся фигурками и картинками. Интеллекция наша опустилась и совесть бездействует. Наука, освещающая разум, питающая душу и укрепляющая сердце, сделалась нам противна.

Мы требуем только возбудительных средств, которые помогли бы нам наслаждаться, хотя бы сокращая наше существование и предавая нас позорной смерти.

Но для кого же, спросят меня, пишете вы все это, если таково ваше мнение о ваших современниках?

Я предполагаю, что в самом развращенном обществе всегда найдется хотя тысячная часть людей неиспорченных и что достаточно этой закваски, чтоб в весьма короткое время обновить нашу нацию, и притом самая внешность в отношении нашей изжившейся расы заслуживает внимания.

Франция, мы должны в этом сознаться, уже не увлекает собою всего человечества, и я думаю, что после полувековых опытов, более или менее конституционных, будет интересно проследить это движение; и так как французская нация, опередившая в этом отношении другие народы, представляет наиболее данных для наблюдения, то я и избрал ее предметом моего изучения.

Но неужели мы откажемся от самих себя потому только, что мир преисполнен интриганов и мошенников? Неужели мы будем отвергать здоровье и добродетель только потому, что общество больно. Неужели мы бросимся в скептицизм потому только, что мы всегда разочаровывались в наших монархически-парламентарных комбинациях и до сих пор не сумели организовать нашу республику и что теперь мы бессильны судить самих себя?

Какое безумие! Нет, нет! Право и наука суть могущественные силы человечества; соединимся под их руководством; с ними мы будем сильны — один против тысячи, один против десяти тысяч, — и мы победим: как говорит Псалмопевец,

«падет от страны твоей тысяча и тьма одесную тебя»!

В 1848 году нас обвиняли в том, что мы делали наши опыты над социальным телом, как над трупом казнённого. Теперь не может быть и речи о подобных опытах. Все правительства, которые создала себе Франция с 89 г., умерли в младенческом возрасте, ни одно не было живучим. Пусть же трупы их послужат по крайней мере для вскрытия; и этого довольно для их славы!¹

¹ К числу этих трупов принадлежит ныне и Наполеон III, о политической карьере которого читатель найдет сведения во 2-м томе этого сборника. *Прим. изд.*

Глава III. Пятнадцать конституций французского народа, составляющие прелюдию шестнадцатой. — Европа и Америка в разработке конституций и реформ. — Всеобщий недуг

Для того, чтобы возбудить в публике, подобной французской, интерес к политическим исследованиям, к так называемой науке правления, прежде всего следует стряхнуть пыль старых авторов, отказаться от школьных традиций и совершенно отложить в сторону педантическую эрудицию и официальный, академический стиль. Какой француз не начинает зевать при одном слове *конституционное право*.

Кто может решиться ныне поглотить целую библиотеку публицистов, хотя бы это были Боссюэ, Монтескьё, Ж. Ж. Руссо, Мирабо, Ж. де-Местр, де-Бональд, или Шатобриан? Отцы наши, если история не лжет, в 89 и 93 годах пристращались к таким трудным материям. Правда, что прения учредительных и законодательных собраний и конвента, бурное красноречие Мирабо, Мори, Верньо, Робеспьеров, — все манифестации самодержавного народа, вся страстная и кровавая драма революций — поддерживали общее внимание и оживляли общественное сознание, служа им как-бы толкователями. Но десять лет спустя после созыва Генеральных Штатов, ко всей этой литературе возымели отвращение: страна кричала в один голос — вон все!..

С тех пор мы выбросили за окно эту философию дня, мы забыли все, не исключая и нашего катехизиса. Пролетарии и буржуазия столь же мало способны ныне ответить на вопросы об учреждениях их страны, о правительственных принципах, или об условиях свободы, как и на вопросы из символа христианской веры.

Мы не имеем ни политического, ни религиозного образования, что однако не мешает французам обсуждать вкривь и вкось действия правительства, государственные дела, право народов, наставлять Европу и Америку, и в качестве избирателей, один раз в шесть лет являться отправителями верховной власти, давая свои верительные грамоты депутатам, хотя эти грамоты выдаются на предъявителя.

Необходимо изменить методу. Политическая наука есть ничто иное, как ветвь

социальной науки, отдел антропологии, часть естественной истории; будем поэтому заниматься ею как историки-натуралисты; мы выиграем уже в том, что избавимся от всей старой рухляди; потом, будем говорить языком ясным, положительным и способным отражать силой своей логики все мудрствования скептицизма. При таком условии политика, или естественная история государств, может оспаривать интерес естественной истории животных.

Знаете ли, читатель, сколько конституций, со времени зловещего 1789 г., было официальным образом предложено Французскому народу? Пятнадцать! Из этого числа двенадцать были только вотированы, а *десять* и приведены в исполнение. Последняя несколько раз была изменяема и находится на пути к новой метаморфозе. Эти пятнадцать конституций, о которых вы так же мало заботитесь, как о прошлогоднем снеге, составляют основу нашего публичного права; это — священное хранилище нашей свободы и наших гарантий, ковчег наших учреждений и наших судеб. Поэтому, ни что другое не может быть более достойно нашего уважения: этим обуславливается наша политическая жизнь, в этом все наше значение. Уничтожьте это основание, и Франция не существует более, а французская территория, с своими жителями — подобно диким незаселенным местам в центре Африки, сделается не более как географическим термином; она более не будет государством, она утратит свое место в мире политики. В виду этой важности, вооружитесь терпением и позвольте мне сделать хронологический перечень этих 15 конституций, составляющих первую главу нашего политического катехизиса.

Историческое обозрение французских конституций с 1789 по 1864 год

Когда французская нация решилась дать себе конституцию, — король Людовик XVI эдиктом от 27 сентября 1788 г. созвал так называемые Генеральные Штаты на 1-е число мая предстоявшего незабвенного 1789 года; избиратели, собранные по округам, приглашены были выразить свою волю в инструкциях депутатам (*cahiers*). Эти инструкции должны были служить, так сказать, приказом депутатам; никогда еще, ни до того времени, ни после, нация не высказывала своей воли более положительным образом. Предстоящая конституция должна была сделаться самым верным ее выражением.

1) *Проект конституции*, представленный учредительному собранию комитетом конституции, в период от 27 июля по 31 августа 1789 г.

Проект этот не был принят, не смотря на то, что он был выработан под влиянием событий 20 июня, 14 июля и 4 августа 1789 и потому предупреждал уже мысли, выраженные в избирательных инструкциях; проект этот был исключительно мо-

нархического характера, не уничтожавший при этом вполне феодализма, принцип которого он поддерживал официально, в дуализме народного представительства — в законодательном корпусе и в сенате.

2) *Французская конституция*, утвержденная учредительным собранием и принятая королем 3 сентября 1791 года.

Идеи быстро шли вперед: *veto* короля было уничтожено; вместо 2-х палат установлена одна; за королем оставлена лишь власть исполнительная.

Конституция эта с грехом пополам просуществовала до 10 августа 1792 года.

3) *Проект конституции*, представленный национальному конвенту конституционным комитетом 15 и 16 февраля 1793 года. (Редакция Кондорсе).

Этот проект, чисто демократического характера и отвергающий королевскую власть, был разослан в 85 департаментов и во все армии, чтобы спросить их мнения. Но конвент, занятый другими делами, не рассматривал его.

4) *Конституционный акт*, представленный народу национальным конвентом. (Редакция Робеспьера) 24 июня 1793 года.

Эта конституция, названная конституцией второго года, была только восстановлением предыдущей. Она была принята народом, но не была обнародована до заключения мира.

5) *Конституция французской республики*, предложенная французскому народу национальным конвентом 22 августа 1795 и принятая 1.057,390 против 49,977 голосов.

Это была конституция директориальная, названная конституцией III года; она уступает конституции II года. Элемент монархический является здесь в форме исполнительной директории, состоящей из 5 членов, дуализм восстановлен в палатах; избирательная система устроена так, чтобы держать народ в отдалении. Конституция эта продолжала свое действие до 18 брюмера восьмого года (10 ноября 1799).

6) *Конституция французской республики*, учрежденная законодательными комиссиями 2-х советов и консулами, 22 фримера VIII г. (13 декабря 1799 г.)

Произведение Сийеса, измененное Бонапартом, сделавшим из неё удобное для себя орудие, она уничтожала представительную систему, оставляя лишь тень свободы, и хотя не вполне восстанавливала старый деспотизм, но значительно отступала от принципов, выраженных в инструкциях 1789 г. Тем не менее она была принята

3.011,007 утвердительными голосами, против 1562 отрицательных.

7) *Органический сенатус-консульт конституции* 16 термидора X года (4 августа 1802 года).

Конституция VIII года не соответствовала честолюбивым замыслам Бонапарта и, при всей незначительности представляемых ею препятствий, стесняла его деспотизм.

Вследствие чего, немедленно по заключении Амиенского мира, он делает себя пожизненным консулом; избирательная система, и без того уже ослабленная, потеряла всякую силу; трибуна разломана; конституция искажена в своих главных основаниях.

Эта переделка получила санкцию 3.568,885 голосов против 8,365. Чем более развивался деспотизм, тем более рукоплескала демократия!

8) *Органический сенатус-консульт*, или императорская конституция, чисто автократическая и абсолютная. 28 Флореаля XII года (18 мая 1804 года).

Принятая большинством 3.521,675 против 2,679, она существовала до 2 апреля 1814 года, т. е. до того дня, когда охранительный сенат (Senat conservateur) провозгласил низвержение Наполеона Бонапарта и его династии.

9) *Французская конституция*, объявленная охранительным сенатом 6 апреля 1814 года.

Это как бы договор сената с Людовиком XVIII, который ответил на него:

10) *Конституционной хартией* 4 июля 1814 года.

Пожалованная королем помимо участия граждан, посрамившихся своим вотированием XIII, X и XII годов, — хартия эта, по отношению к организации власти, воспроизводила идеи 89 и 95 года, но устраняла при этом всеобщую подачу голосов.

11) *Дополнительный акт к конституциям империи*, данный Наполеоном Бонапартом, 22 апреля 1815 года.

Принятый народом и имевший свою силу до 22 июня 1815, т. е. до дня второго отречения Наполеона, акт этот есть совершенная копия с хартии Людовика XVIII, за исключением избирательной системы, которая заимствована была у конституции X года, и учреждения государственных министров, на которых возложена была обязанность отстаивать перед палатами правительство, — идея, воспроизведенная Наполеоном III в конституции 1852 года.

12) *Проект конституции*, представленный центральной комиссией палате депутатов

29 июля 1815 года. Проектом этим предполагалось установить двухстепенную подачу голосов; — это, впрочем, простое видоизменение хартии. К этому проекту следует присовокупить еще декларации законодательной власти от 2 и 5 июля 1815 г. относительно *Прав французского народа*.

Возвращение Бурбонов, под покровительством иностранных штыков имело своим результатом полнейшее возвращение к хартии 1814 г.

13) *Конституционная хартия*, принятая палатой депутатов 9 августа 1830 г.

14) *Конституция французской республики*, объявленная учредительным собранием 4 ноября 1848 г.

Она восстанавливает всеобщую и прямую подачу голосов, сосредоточивает законодательную власть в одном собрании и возлагает исполнительную часть на президента, избранного народом на четыре года.

Закон, ограничивающий всеобщую подачу голосов, 31 мая 1849 г.

15) *Конституция, данная Людовиком-Наполеоном Бонапартом* 14 января 1852 г.

Она восстанавливает во всей полноте всеобщую подачу голосов, ограниченную законом 31 мая, — но возвращается к идеям VIII года — во всем, что касается распределения власти. Конституция эта впоследствии подверглась следующим изменениям:

1. *Сенатус-консульт* — восстановил достоинство императорской власти в лице Людовика-Наполеона Бонапарта с наследственным правом его династии, 7 ноября 1852 г.

2. *Сенатус-консульт* 25 декабря 1852 — толкует и изменяет конституцию и уничтожает некоторые статьи её.

3. *Сенатус-консульт* 27 мая 1857 г., изменяющий 35 ст. конституции.

4. Наконец, *декрет* 24 ноября 1860 г., предоставляющий право сенату и законодательному корпусу обсуждать и вотировать адрес.

Эти изменения совершенно исказили конституцию 1852 года. Из республиканской и диктаторской, — каковою она была в начале — она сделалась сперва монархической и автократической, потом представительной и парламентарной; она силится, как ясно видно, возвратиться к системе 1830 г. Впоследствии мы ее рассмотрим ближе.

И так, в общем результате, в течении 60 лет было 15 конституций, — или, если считать только те из них, которые были введены в действие, то будет 10 конституций, т. е. по

одной конституции каждые шесть лет. Вот какова была наша политическая жизнь со времени созвания Генеральных Штатов до восстановления последней империи; и мы знаем и не можем сомневаться в том, что готовится уже шестнадцатая и не менее несчастная комбинация.

Таковы суть данные, которые представляет нам история и закон которых нам следует открыть. Кто-то сказал, что действием человека руководит Бог. Но Бог есть всеобъемлющий разум. Что же нас заставляет плясать и кувыркаться, подобно марионеткам, на туго натянутом канате политики? Какая цель и причина подобного кривляния? Чем оно может кончиться? Скоро ли мы покончим с гипотезами, или вернее сказать — с нашими мучениями. Между столькими системами, изобретенными для того, чтобы гарантировать людям великие блага: свободу, справедливость и порядок, — неужели не найдется ни одной такой, на которой могли бы опереться наш разум и совесть? Кто нам укажет такую систему? По каким признакам узнать ее? Когда наконец дано нам будет воспользоваться благами её? Существует ли наука, логика или метод, которые могли бы разрешить эти проблемы.

Заметим, что тревога, которая нас теперь терзает, чувствуется везде.

Если мы ушли дальше других на политическом поприще, или говоря более технически, если мы совершили наибольшее число конституционных переворотов, — это только потому, что мы начали общее потрясение, потому что с самого начала, устранив все, что могло воспрепятствовать нашему движению, мы не могли уже остановиться на этом пути, наконец потому, что мы обладаем более пылким умом и более пламенным темпераментом, нежели наши подражатели и наши соперники. Эти замечания должны несколько примирить нас с самими собою. Не все в нашей истории зависело от нашего характера, предрассудков и недостатков. Всякому, кто ближе всмотрится в дело, ясно, что со времени окончания великих войн, вся Европа, по примеру Франции, была охвачена болезнью конституций. Где конституции оказывались недостаточными и не соответствующими духу времени, — там повсюду вспыхивало революционное движение, и там, где конституции давались и прилагались на деле, недостатки их не замедляли давать себя чувствовать, и требовались реформы.

Почему, например шлезвиг-голлштинский вопрос тревожит теперь все государства, держит в страхе дипломатию — и что это за вопрос, для разрешения которого все требуют конгресса? — Вопрос чисто конституционный и самый сложный, касающийся в одно и то же время и Дании, и Шлезвиг-Голштейна, и всей Германской федерации.

Что так тревожит Германию и что с такою яростью натолкнуло ее на Данию? То, что у неё нет конституции, и то, что федерация её остается пока идеалом, то, что при существующем соперничестве её государей, противоречии в учреждениях, антагонизме национальностей, Германия, повсюду окруженная изменой и интригами и

угрожаемая со всех сторон, в сущности еще не живет, да и никогда еще не жила.

Из-за чего и прусский король ссорится с своим народом? Из-за того, что народ не доволен конституцией.

Из-за чего произошла междоусобная война в Соединенных Штатах? Из-за того, что северные и южные штаты думали одни на счет других эксплуатировать конституцию.

Что сами мы делали в Мексике? Конституцию.

Венгерский вопрос есть вопрос чисто конституционный, а Италия, Испания? Не представляют ли эти государства, вот уже в течение 40 лет, поле битвы из-за конституционных идей? и т. д. и т. д.

Большинство конституций, возникших с 1814 г., в обеих частях света, подверглись многочисленным изменениям, некоторые же из них совершенно переделаны. Даже Швейцария два раза исправляла свой федеративный договор, а Бельгия, которую ставят всегда в пример, как тип конституционного государства, — гниет в своем доктринёрстве с своими либералами и клерикалами. Несколько лет тому назад она едва не свергла своего короля; теперь она громогласно требует возвращения ей провинциальной и общинной свободы; она не мечтает ни о Карле V, ни об Иосифе II, или Наполеоне, но о Якове Фон-Артевильде.

Только одна Англия кажется неподвижною, далекою от совершающихся катастроф. Это потому, что в Англии согласились, во чтобы то ни стало, поддерживать веру в королевскую власть, в аристократию, в буржуазию, в церковь, в библию, в великую хартию. Но вера эта есть ничто иное как замаскированный эмпиризм, который умышленно отказывается от всякого строго-логичного определения; называть Англию страню конституционною — заблуждение. В Англии существует самопроизводное (factice) общественное мнение, которое диктует каждому государственному деятелю что он должен делать ежедневно, прикрываясь мантией закона, пригодной для каждого случая.

Я резюмирую всю настоящую главу в двух словах. Деятнадцатый век занят разработкой своей политической и экономической конституции. Франция — страна, где эта работа до настоящего времени проявлялась с наибольшей энергией, хотя, впрочем, явления эти везде почти одинаковы.

Постараемся раскрыть закон этого движения путем анализа нашей истории.

Глава IV. Общий критический взгляд на конституции

Историческая последовательность и логическая сущность французских конституций. — Крайности и средства. — Начало конституционного цикла. — Бесперывные перемены. — Постоянное непостоянство.

Пятнадцать конституций, о которых мы дали отчет в предыдущей главе, поименовав их в хронологическом порядке, и прибавленная к ним с одной стороны инструкции, данные избирателями депутатам Генеральных Штатов, с другой — сенатус-консульты 1852, 1856 и 1857 годов, а также декрет 24 ноября 1860 года, являясь предвестниками новой конституции, составляют в настоящее время весь ансамбль наших политических эволюций.

Прежде всего надо однако заметить, что тот исторический или хронологический порядок, в котором эти конституции следовали одна за другой и которого мы придерживались при их рассмотрении, не показывает еще их рациональной связи между собой, если только предположить в них существование какой-нибудь связи; и что посему порядок этот отнюдь не представляет нам теории всех этих переворотов. Мы видим, что после монархической конституции появляется ультра-демократическая, за этой же следует умеренно-буржуазная республика, потом является военная автократия, за ней парламентская монархия, потом опять демократия, наконец — империя. Но во всем этом нет ничего такого, что дало бы нам возможность подозревать нечто общее во всех этих конституциях, которые представляются столь противоречащими одна другой. В самом деле, что соединяет их, какую мысль они проникнуты, зачем так часто сменяются они одна другой, переходя из одной крайности в другую и обнаруживая общую несостоятельность. Вот именно этот-то закон превращений и следует изучить.

Невольно спрашиваешь себя, не суть ли все эти превратности — действие рока или провидения, и во всяком случае, какой разум в них действует.

Для того, чтобы ответить на этот вопрос, представляется только одно средство — тщательно рассмотреть все эти конституции и сравнить их между собою по их отношению к свободе общественной, провинциальной, корпоративной и индивидуальной, по отношению к гражданскому, публичному и народному праву, наконец по отношению к философии, искусству, цивилизации и нравам и пр. Но такой труд потребовал бы необъятных томов, которых никто бы не стал читать;

логическое же исследование дает возможность быть кратким и необременительным для читателя.

Выше мы показали хронологический порядок наших пятнадцати конституций; теперь мы рассмотрим их в другом порядке, и вместо исторической их последовательности, ничего нам не объясняющей, будем исследовать их логическую последовательность. Я понимаю под этим такое рациональное сопоставление всех этих конституций, рассмотренных в их внутренней сущности, которое представило бы их все вместе, как ступени одной и той же системы, как видоизменения или частности её.

Исходным пунктом такого сравнения мы примем конституцию 1804 года, самую автократическую из всех; нам легко будет убедиться, что более всех приближается к ней по своему аутентическому характеру конституция 1802 года; затем третья в том же роде будет конституция 1852 года. Таким образом, следуя этому порядку сравнения, мы придем к конституции 1793 года, которая совершенно противоположна первой, и в которой мы видим полнейшее развитие демократических начал и никаких признаков автократизма. Хартия же 1814–1830 г. составляет нечто среднее.

Рациональная серия конституций французского народа, от 1789 до 1864 г.

Конституция 1804 г. империалистская, чисто автократическая.

Конституция 1802 г. диктаториальная с пожизненным консулом.

Конституция 7 ноября 1852 г. империалистская и автократическая, слегка смягченная.

Конституция 14 января 1852 г. диктатура на 10 лет.

Конституция 1799 г. диктаториальный триумвират на 10 лет.

Конституция 24 ноября 1860 г. империалистская, с парламентарной тенденцией.

Конституция 1815 г. конституционно-империалистская.

Конституция 27 июля — 30 августа 1789 г. согласно тому, как она проектирована в инструкциях, — конституционная монархия, окруженная феодальными воспомина-

ниями.

Конституция 1815 г. империалистская, представительная и quasi-парламентарная.

Конституция 1814 г. конституционная монархия представительная и парламентарная; законная династия; возвышенный избирательный ценз.

Конституция 1830 г. такова же, лишь с понижением избирательного ценза, с определенной королевской прерогативой, избирательная династия.

Конституция 1791 г. конституционная монархия, представительная, но не парламентарная — с подчинением королевской власти собранию.

Конституция 1795 г. республиканская, но без прямых выборов; две палаты, пять членов директории.

Конституция 1848 г. республиканская, демократическая; всеобщая и прямая подача голосов; одна палата и президент.

Конституция 1793 г. представительная, демократическая; одно собрание; все должностные лица назначаются народом.

Весьма важно заметить, что ни конституция 1804 г., ни конституция 1793 г. в сущности не суть точные выражения автократического абсолютизма, или чистой демократии, вследствие того, что ничто абсолютное по самой природе своей не осуществимо.

Не следует, однако, приходить к заключению, что эти два сорта конституций представляют собою противоположности: действительно, многого еще не достаёт, чтобы демократический принцип был так далеко введен в конституции, как противоположный ему принцип империализма. Конституция Робеспьера не представляет безусловной противоположности конституции Наполеона; в силу этого, с 1815 года, некоторые демократы, надеясь возбудить в массах рвение к республиканским учреждениям, предложили — под именем прямого участия в *правлении*, прямое *народное законодательство*. Проекты этих конституций, по отношению к принципу народного самодержавия, далеко оставляют за собою акты 1848, 1795 и даже 1793 годов. Я не буду в настоящее время оценивать достоинства этих предложений; я хочу только, в подкрепление теории, дать заметить, что эти системы ни в чем не изменили бы сущности нашей аналитической таблицы, задача которой заключается в том, чтобы наглядно и в форме рациональной картины доказать, что все возможные конституции, сколько бы их ни было, всегда сгруппируются около двух диаметрально противоположных пунктов, составляющих так сказать крайние звенья этой цепи. Понятно, что если конституция 1804 года соединила всю власть в руках одного человека, то, с другой стороны, противоположная ей конституция могла вручить эту власть народному собранию, которое действовало

бы без представительства, магистратуры и министерств. В таком случае всеобщая подача голосов была бы бесполезна. Все равно, будет ли подобная конституция приведена в действие или нет, последствия нашей системы будут те же и наши суждения сохраняют свою вероятность.

Вместо того, чтобы начать наш список с конституции 1804 года, бывшей самым полным выражением автократии во Франции с 1789 года, мы точно также могли бы начать его с конституции 1814 г. или со всякой другой, ставя затем те конституции, которые наиболее подходят к предыдущей:

Конституция 1814 г. доктринёрная, представляющая золотую середину.

Конституция 1830 г. склоняющаяся к демократии.

Конституция 1791 г. монархическая субординация.

Конституция 1795 г. с республиканским перевесом.

Конституция 1848 г. такая же с одною палатою.

Конституция 1793 г. подчинение буржуазии народу.

Конституция 1804 г. чисто автократическая и наследственная.

Конституция 1802 г. пожизненная диктатура.

Конституция 7 ноября 1842 г. умеренная автократия.

Конституция 14 января 1852 г. десятилетняя диктатура.

Конституция 1799 г. триумвират на 10 лет.

Конституция 24 ноября 1860 г. императорская, с парламентарными тенденциями.

Конституция 1789 г. конституционная монархия — с дворянскими традициями.

Конституция 1815 г. императорская и quasi-парламентарная.

Примечания:

А) Ряд конституций, который мы представили, следуя нашей истории и сравнению различных лежащих в них принципов, составляет то, что я называю *конституционным циклом*, или кругом, в котором всякому обществу суждено вращаться до тех пор, пока оно не приобретет окончательной организации. Этот цикл есть результат того перевеса, который последовательно достается каждому из социальных элементов;

он более или менее обрисовывается в истории всех народов.

С помощью этого круга мы можем уяснить себе истину, выражающуюся в известной пословице *les extrêmes se touchent* (крайности сходятся), которая, однако, скрывает в себе что-то таинственное для ума.

Если представить себе этот ряд конституций изображенным в форме радиусов круга, то легко будет убедиться, что крайности автократии и демократии настолько же близки друг к другу, как и средние системы парламентаризма. А так как теория всегда имеет свое применение на практике, то мы и находим здесь объяснение явления давно замеченного, но очень мало или вовсе не выясненного и заключающегося в том, что в тех государствах, которые подверглись конституционному движению, весьма часто оказывается, что правительства, дойдя до демократических крайностей, вместо того, чтобы путем правильного вращения обратиться к разумной середине, делали резкий поворот к автократии или к абсолютной власти. Ничто в теории так не противоречит друг другу, как автократия и демократия, отделяющиеся одна от другой множеством смешанных правительственных систем, но в тоже время ничто так близко не соприкасается, как эти две формы. Так что, если движущая сила, или руководящая страсть, направляющие государство то к принципам демократии, то к полнейшему абсолютизму, не задержит власти в тот момент, когда она приближается уже к достижению какого либо из этих пределов, то власть эта как бы перескакивает идеальный интервал, разделяющий эти два предела, и становится на ноги уже совершенно видоизмененною. И странно, очень часто замечали, что самые рьяные демократы обыкновенно скорее всех мирятся с деспотизмом, и, наоборот, защитники абсолютного права, в подобных же случаях, делаются самыми ярыми демагогами: как будто душа человека в этом отношении совершенно сходится с социальной метафизикой.

В) И так, ряд рассмотренных нами конституций, взятый в его ансамбле, представляет собою нечто в роде высшего организма, составленного из низших организмов, или низших систем, и который подобно животному телу состоит из органов и внутренних частей, душевных способностей и т. п. Организм этот также можно сравнить с огромной машиной с зубчатыми колесами, в котором то, что мы называем формой, или системой правительства (монархия, аристократия, демократия и пр.), есть не более как движение отдельных колес и в котором обществу дается движение в том или другом направлении. Организм этот можно также сравнить с солнечным зодиаком, двенадцать знаков которого поочередно служат станциями для солнца и который годовым и суточным кругообращением образует систему времен года — этот постоянно возобновляющийся образ мировой жизни.

Как бы то ни было, но из всех этих сравнений, очевидно недостаточных, можно вывести одно только верное заключение, — что, в сущности, не существует различных родов правительств, отдельных один от другого, — родов, изобретаемых фантазией или гениальностью законодателей, и из которых каждая нация призвана выбрать наиболее подходящий к её темпераменту. Напрасно хвалился Солон, что

конституция, которую он дал афинянам, была более всякой другой им свойственна: доказательством тому служит то, что еще задолго до появления римлян, — даже еще до Филиппа, — слава Афин и их свобода погибли от этой конституции. Если бы афинское общество существовало до наших дней, поставленное в другие условия и под другие влияния, весьма возможно, что оно поступило бы точно так же, как поступает в течении 24 лет французское общество, т. е. оно испробовало бы весь ряд конституций и жило бы революционной жизнью. Оно еще раз доказало бы нам своим примером, что для всех народов существует лишь одна и та же политическая система — соответствующая их элементам и условиям, и состоящая из всех тех различных порядков, которые мы называем правительствами, но такая система, истинный синтез которой до сих пор не мог быть воспроизведен, по причинам, которые мы рассмотрим ниже.

Доказательством истины этого синтеза, к которому призван человеческий род, и доказательством того, что все упомянутые нами правительства, рассматриваемые с разных точек зрения, являются искалеченными и с трудом дышащими, служит то, что они, как доказал опыт, не представляют никакой серьезной гарантии и долговечности, что они лишены прочности и равновесия и при анализе представляют лишь противоречия; наконец, повторяю, все эти правительства, собранные в одну синоптическую таблицу и подобранные, так сказать, сообразно их различным свойствам, представляют собою различные фазы того великого круговорота, в котором государство двигается взад и вперед, кружится, то стараясь утвердиться на одной из средних точек, то стремительно проходя чрез целый ряд систем и иногда быстро переступая идеальную черту, отделяющую крайности. Таким образом, представленный нами конституционный цикл, указанный нам логикой, должен быть рассматриваем в той форме, какую мы ему дали, не столько как точное и определительное выражение социальной системы, сколько изображение различных гипотез, или даже только опытов или приготовлений, ведущих к ней.

С) Политическая система не только едина по своей природе, что проявляется в самом видоизменении её в правительственных формах, но является и безусловно-необходимой, постоянною и неизменною в своей сущности. Система эта имеет свои данные в условиях и элементах общества, и подобно тому как самое общество и все человечество, в каких бы фазисах они не находились, — не изменяет всей совокупности своей феноменальной жизни; подобно тому, как оно остается неизменяемым в своей сущности, как и самый земной шар, которого оно есть венец, подобно материи, всю энергию которой оно заключает в себе, подобно жизни, которая находит в человечестве свое высшее выражение, подобно духу, которого оно есть глагол, и наконец подобно справедливости, истолкователем которой оно является, — и политическая система, которая нами управляет, в своих ли подготовительных фазах, или в своей законченной форме — неизменна. Это не требует большего разъяснения.

Мы допускаем а priori, что если человек, как разумно-свободное существо, живет в обществе и признает над собою справедливость, то общество не может не установить

у себя известный порядок, иначе сказать — образовать правительство, будет ли оно вверено одному избранному лицу, под названием государя, императора или короля, или несколькими уполномоченным, составляющим сенат, патрициат, аристократию, (если управление представляется невозможным в форме всенародного собрания), будет ли правительственная власть отправляема *ad libitum* — самодержавною волею, коллективною или индивидуальною, или на основаниях традиций и обычаев, или же наконец руководясь положительными правилами и выработанными законами. Все эти элементы, кажущиеся исключаящими друг друга, соприкасаясь между собою, группируются и комбинируются в различных пропорциях, как например автократия, умеряемая влиянием аристократии или демократии, или совершенный произвол, ограничиваемый и изменяемый обычаем, или инициатива государя, ограничиваемая инициативою сената, или и в том и в другом случае ограничение будет принадлежать народному представительству и письменному закону, и вообще как бы ни изменялись подчиненность классов, должностей и прерогатив. Все это может видоизменяться до бесконечности, и вот почему между двумя крайностями, автократией и демократией, можно вставить столько средних форм, сколько угодно. Но все это отнюдь не изменяет системы, а напротив утверждает ее, и все, что история может заключить из подобных видоизменений в государстве, это только то, что общество страдает, что оно ищет для себя опоры, часто даже падает и, не имея возможности восторжествовать над своим бессилием, клонится к смерти. Следовательно политическая система, как мы ее теперь понимаем, стоит выше всякого осуждения, свободна от всяких необдуманных человеческих планов, более прочна и более долговечна, нежели племя или даже национальность. В политике мы можем отдаться всем возможным оргиям, испробовать все гипотезы, переходить от равновесия властей к диктатуре, от империи к демагогии, но мы никак не перейдем роковой границы и одно из двух: или мы погибнем в наших безумных эволюциях, или придем к тому последнему синтезу, в котором залог мира и счастья народов¹.

Д) Третий характер конституционного цикла или системы, рассматриваемых во всяком случае в их общей совокупности, составляет её антиномию, или внутренний элемент противоположности, лежащей, в сущности, двух сопротивляющихся одна другой крайностей, которые никогда не могут ни поглотить, ни исключить друг друга. В государстве самом автократическом всегда находится элемент демократический, на том основании, что прямой разум говорит, что не может быть государя без подданных, и наоборот во всякой демократии постоянно проявляется автократический элемент, потому что государству всегда присуще единство власти, — единство, проходящее чрез все органические деления; государство индивидуализируется лишь преимущественно для того, чтобы обеспечить единство действий в органах,

¹ В этом месте в рукописи Прудона, как видно, предполагалось вместо следующих двух примечаний Д и Е вставить оценку изложенного им метода, противопоставив ничтожности исторической серии конституций плодотворность рациональной; также видно по его заметкам, что он имел в виду показать, что бывает с народом, остановившимся на конституции, признанной им совершенною, но которая носить в себе необходимость изменчивости, под влиянием страшных революций, скептицизма, упадка духа, низости и изнеженности народа.

которыми являются исполнительные должности. Пусть говорят, что избранник или представитель народа есть только его уполномоченный, его служитель, носитель народной власти, его адвокат, его истолкователь; вопреки этому теоретическому определению верховной власти народа и вопреки официальной и легальной подчиненности его своему правителю, представителю или толкователю, — никогда не бывает, чтобы влияние и авторитет народа осилили его представителя и чтобы он был действительно только уполномоченным народом. Не взирая ни на какие принципы, постоянно случается, что этот уполномоченный делается господином своего суверена и это не потому, — как могли бы подумать, что уполномочиваемое лицо обыкновенно бывает способнее тех, кто дает ему полномочие, но потому, что по самой сущности верховной власти действительный суверен есть тот, кому народ согласился вверить власть. Безусловный суверенитет, если можно так выразиться, еще идеальнее, чем безусловная собственность. Различие между безусловностью и условностью этих понятий существует только в терминах, но иначе и быть не может. Мы должны знать цену слов и выражений и уметь употреблять их.

Е) Политическому организму, как в его ансамбле, так и в отдельных фазисах или формах, присуща антиномия, или противоположности; отсюда следует, что он существенно подвижен: неподвижность, которую часто смешивают с постоянством, чужда обществу, что бы ни говорили теоретики абсолютного права, точно также, как разум чужд камню, любовь чужда пространству, идеал и религия недоступны животным. В этом и заключается тайна политической жизни. Общество постоянно находится в действии, постоянно занято самосозданием, идет ли оно вперед или отступает назад; без этого немислим прогресс: цивилизация была бы теперь такою же, какою была в первобытное время; человек, истощив свои первоначальные созерцания, оставался бы в *status quo*; он был бы первым между видами животных, способных к труду, но ничего не прибавил бы к знаниям своих предков, и назначение человечества было бы выполнено после первой же генерации.

Я постараюсь в нескольких словах объяснить, каким образом в политической системе антиномия порождает движение.

«Дайте мне материю и движение, говорил один математик, и я объясню вам мир.»

Но математик этот требовал лишнего; по моему мнению, ему нужно было только объяснить, каким образом движение происходит из антитезных свойств материи, или иначе сказать из столкновения идей.

Я утверждаю; что причина движения в политической системе есть ничто иное, как сцепление целых рядов различных систем, число которых, как мы видели теоретически, бесконечно (смотри примечание С) и которые так связаны, что ум, как бы он ни был тонок, постоянно скользит от одной к другой и не может остановиться ни на одной.

Слово и мысль — различны между собою; первое называет, определяет, индивиду-

ализирует, так сказать, предметы и своими определениями, индивидуализацией и наименованием, помогающими ему делать идеи конкретными, оно достигает до известной степени возможности отличать их одну от другой, и это помогает мысли моментально сосредоточиваться на них. Без сомнения, определения эти не верны, и логика это подтверждает, говоря, что *omnis definitione periculosa*. Наши рассуждения часто бывают ложны и наши заключения печальны; выше мы видели этому пример в понятии о мнимых уполномоченных народного суверенитета. Надо было много времени, прежде чем философия заметила, что логика конечных величин не применима к политическим идеям. Тем не менее даже в нравственных и метафизических науках слово — при всех своих недостатках — оказывает нам громадные услуги, и мы не могли бы обойтись без него. Но человек, который, довольствуясь самым употреблением слова, привык мыслить без помощи определительных данных, поступает совершенно иначе. Он не останавливается на конкретных явлениях; индивидуальности едва его интересуют, его занимают законы вещей: он парит над идеями, над родами и видами предметов, он перелетает от одной группы к другой; его интеллекция находится в непрерывном движении. Все различные предметы, которые видят наши глаза, называют наши уста, слышат наши уши, которые представляются нашему уму отдельно, производя на вас впечатление видораздельности, теряют свои различия и представляются нам лишь как изменчивые формы, когда мы созерцаем их взором одного нашего понимания. Что такое для натуралиста птица, рыба или четвероногое? Экземпляр известного вида животных, составляющего часть известного рода, который образует в свою очередь часть высшей категории, входящей в одно из царств природы. В животном, которое вы только называете, натуралист видит все это в один раз, и он не может не видеть этого, и если бы он не видел, то его наука была бы ничто и в таком случае он имел бы лишь одно понятие о фигуре животного. Но охотник, который в преследуемой им дичи видит только лишь предмет потребления, — воспринимает ее только в её отличительной форме, в её индивидуальности; для него козленок есть не более как козленок, куропатка — куропатка и т. д. Он вовсе не думает ни о жвачных, ни о толстокожих, ни о четвероруких и не более думает о воробьях, или лапчатоногих птицах. Как бы ни было неуловимо нравственное или физическое различие, по которому можно отличать животных, с которыми охотник ведет войну, он никогда в них не ошибется; он уверен, что никогда их не смешает, и в этом отношении он конечно видит гораздо яснее всякого учёного, который, стараясь дать себе отчет о животном путем обсуждения этих различий, проявляющихся прежде в чувствах и затем отмечаемых словом, путается в классификации животных, приходит только к признанию собственного своего бессилия и кончает тем, что сознается, что для него — человека науки — волк и собака не отличаются один от другой и что кошка и тигр одно и то же животное.

Таким образом, философская мысль, которая из желания удовлетворить своему собственному любопытству и приподнять хотя край завесы природы, вынуждена проникать далеко за пределы чувственных признаков и пренебрегать их определениями, в большинстве случаев поставлена бывает в необходимость возвращаться к

ним, чтобы не впасть в нелепость². То, что мы сказали о естественных науках, ничто в сравнении с тем, что ожидает философа в науках нравственных и политических. В первых, по крайней мере внешние чувства на половину помогают наблюдению, и если им еще многого не достаёт для того, чтобы быть наукой, они во всяком случае вводят нас в преддверие знания, и их истины не могут быть отвергаемы. Но что найдёте вы доступного человеческому чувству в предметах, относящихся до политики и социальной организации?..

Ясно, что вопросы социальные находятся вне чувственного опыта и недоступны свидетельству чувства; они возвышаются до чистого разума, и вульгарная диалектика, с помощью рутинных определений, или обаяния красноречия, не разрешит их. Никакое внешнее указание не может служить маяком публицисту, когда увлечённый политическим вихрем гипотез (которые все входят одна в другую, которые все могут быть заменяемы одна другою, почти не изменяя ничего на деле, как мы видели это в нашей теории крайностей, и ни на одной из которых нельзя с полной научной добросовестностью остановиться предпочтительно), он по неволе спрашивает себя, не сделался ли он предметом шутки, не впал ли в галлюцинацию, не отдано ли само человечество на произвол случая и не будет ли умнее оставить мир его собственному свободному произволу, а власть первому, кто её захватит?

Это безвыходное положение политической мысли имеет свои основательные причины: идеи повсюду находятся в колебании, как в умах властителей, заинтересованных в сохранении status quo и проявляющих в каждом действии свой скептицизм, так и во мнениях масс, бросившихся очертя голову в революцию. Никто не может похвалиться, что он верно держался одного принципа и до конца довёл его последствия, или защищался от противоречащих идей. Я указал причину всего этого: она состоит в том, что политика, занимающая столь видное место в практической истории человечества, ограничивается исключительно сферой интеллекции, где идеи освобождены от бремени материи и эмпиризма.

Нужно ли после всего прибавлять, что человек постоянно действует не иначе как от избытка мыслей и что его действия суть выражение его сознания; как скоро он будет осуществлять свои соображения, то его предприятия, поступки и учреждения будут аналогическими с его мыслями, и агитация жизни сообщит агитацию мысли.

События, рассказанные нами в двух первых главах, вследствие всего этого приобретают совершенно новый свет. С 1814 до 1830 года французская нация, захваченная текстом хартии, подтверждая этот текст, подозревала, что корона имеет в виду его уничтожить, и остановилась на этом подозрении; она хотела сделать текст хартии неизменяемым и сама в нём утвердиться. Два раза она мстила династии за то, что

² Изучение животных открыло следующие факты: расы или виды одного и того же рода подвержены в своей форме значительным изменениям; вся же система классов, разрядов, родов и пород животного царства относительно построения покоится на однообразном плане. Поэтому формы вращаются лишь в узких пределах. Но непоследовательность философии приводит к иным гипотезам.

она налагала руку на хартию. Можно сказать, что в то время вся нация разделяла это мнение. Но эта мания неподвижности не могла долго существовать: с 1840 до 1848 года идеи развивались в стране и быстро пришли в движения; в течение 15 лет мы переходим от одной крайности к другой, потом возвращаемся к середине и ничего более не делаем, как пересуживаем себя. Так будет до тех пор, пока мы не научимся господствовать над силою, которая нас повергает в такое положение и которая, в сущности, есть ничто иное, как подвижность нашей мысли.

Я объясню вкратце.

Все правительства прошедшие, настоящие и будущие, изображённые и воображаемые, сравненные между собою и поставленные в ряд соответственно их характеру, представляются отдельными органами обширной системы, похожей на лабораторию или экзерциционный плац, на котором посредством разных эволюций, или опытов, совершается политическое воспитание человечества.

Выражаясь более простыми словами, правительственные формы, исключительно эмпирические, которые испробовало человечество до сих пор, могут быть рассматриваемы как насильственное превращение, более или менее нелогичное, искажение истинной системы, открытия которой домогаются все нации. XIX век в особенности замечателен всеобщим усердием этого изыскания.

Эта система, окончательный синтез всех политических соображений, вытекающая a priori из элементов и условий общества, есть система неизменная, антиномическая и находящаяся в непрерывном движении.

Внутренняя подвижность её, происходящая динамически из антиномий, или противоположностей, лежащих в её основании, есть, так сказать, autokinetos, самодвигатель её и производитель её самодвижения.

Результатом равновесия в политической системе является нормальная жизнь собирательного существа — нации, государства.

Если равновесие и будет разрушено, движение все-таки не прекратится, но в обратном виде: противодействие элементов перейдет в антагонизм, и положение общества примет революционный характер.

Теперь нам остается отыскать причину нарушения равновесия в политическом порядке и тех катастроф, которые от того происходят.

Глава V. Общая критика конституций

Об органическом единстве и нераздельности. — Формула, условия и пределы этого закона. — Приложение его к миру политическому. — Важная ошибка, сделанная в этом отношении публицистами, государственными людьми и составителями конституций: утрировка единства.

Теперь, читатель, мы покончили самую трудную часть дела. Остальное, что я тебе скажу, может только занять твое любопытство и позабавить тебя: само собою разумеется, я уверен, что тебя интересует судьба народов и забавляют мистификации государственных людей. Прочти же до конца следующие строки, и тогда ты будешь больше смыслить в политике, чем кто либо смыслил в ней прежде.

Из предыдущей главы ты уже заметил, что всякое правительство подвижно по своей природе и что начало его подвижности заключается в нем самом. Причина этой подвижности — *полярность*, если можно так выразиться, или противоположность понятий, на которых зиждется политическая система и которые производят в ней агитацию или постоянное движение.

Этот *autokinesis* образует общественную жизнь. Если движение так же правильно, как биение пульса у здорового человека, можно сказать, что общество здорово, живет счастливо и правительство его действует в нормальных условиях. К несчастью мы уже видели, что до настоящего времени такие случаи были слишком редки, если даже и согласиться, что они действительно были. Наша деятельность горячая и порывиста; все наши политические учреждения, как бы мы ни хлопотали о их равновесии, неустойчивы, так что крушение правительств кажется некоторым глубоким мыслителям каким-то провиденциальным или роковым условием нашего земного существования.

Необходимо раз навсегда решить, что такое это мнимое предопределение; в самом ли деле неизменен произнесенный против нас приговор; действительно ли неизлечима болезнь, продолжающаяся столько веков? И прежде всего, беспорядок, который нас мучит, происходит ли от внутренних или от внешних причин? Но может ли человечество быть смущаемо чем-либо находящимися вне его? Заметьте, что революционные явления, какой бы переполох не производили они вовне, существенно зависят от бытового и умственного состояния самого общества: каким же образом могли бы они быть следствием чуждого влияния? Поэтому причину наших бед следует искать в нас самих, в том сложном организме, который нам едва

известен. Начнем же с исследования его.

Условие жизни всякого организма — единство, и цельность, расторжение — это смерть. Таким образом растение и животное индивидуализированы в своих организмах и цельны. Отделите ствол от корня, цветов от почки, выпустите сок, стряхните плодотворную пыль, отделённые части уничтожатся, растение засохнет, сделается бесплодным и умрет. В животном отделите мозг, сердце, лёгкие, желудок и т. п. и вслед затем безвозвратно последует смерть. Для оживления разрушенного таким образом существа не поможет уже постановка его частей на прежние места. Предположите, что в одном организме завелся другой — паразит, туберкула, червь: если животное или растение не обладает достаточною силою для изгнания или уничтожения этого паразитного организма, то оно погибнет.

Тот же закон применяется и к коллективным существам — к семейству, племени, компании, армии, церкви и пр. Разъедините отца, мать и детей: семейство уничтожится. Разумеется, здесь идет речь о нравственном разъединении, потому что организмы, о которых мы говорим, принадлежат к миру нравственному, духовному. Разрушите иерархическую связь между генералом, офицерами, унтер-офицерами и солдатами, перемешайте вместе пехоту, кавалерию, артиллерию: вместо армии получится шумное и расстроенное сборище. Разъедините в церкви откровение, предание, духовенство, предоставьте на выбор каждому догматы, культ, мораль, и вы разрушите церковь, а с нею и религию. Пусть в промышленном предприятии действуют без общей цели хозяин, подмастерье, рабочие, счетовод, и предприятие это рухнет.

На тех же началах зиждется и политическое общество или государство. Оно едино и нераздельно по природе: чтобы его разрушить, стоит только посеять в нем раздор или породить в нем враждебное ему общество. Всякое разделенное царство погибнет, говорит премудрость; сам сатана, по словам Иисуса Христа, не мог бы удержаться в разделении.

Все это — элементарная истина: никто никогда не отрицал этого принципа; не отрицаю его и я сам, хотя проповедую в политике антиномию и хотя объявил себя решительным *анти-унитарием*. Единство в политическом организме неприкосновенно, под страхом гибели.

Но вот где начинаются трудности.

Во-первых, всякий организм имеет естественные границы: самые большие растения редко достигают высоты 60 или 70 метров и живут более нескольких столетий; из животных самые большие — слон и кит; и геология нас учит, что многие подобные породы, может быть еще больших размеров, исчезли. Такие размеры не по плечу нашей планете, которую одна мистическая философия считала тоже организмом. Земля не есть органическое существо; в противном случае отчего не считать

органическими существами камень, кремь, песчинку.

Во-вторых, следует заметить, что во всех этих существованиях, отличающихся своим устройством, жизненная сила, деятельность, проворство, и пр. в действительности находятся не в прямом, а скорее в обратном отношении к объему и массе. Крот, если принять в расчет его вес, сильнее слона; ласточка летает несравненно лучше орла и коршуна. Если человек по своим умственным и нравственным способностям — царь животных, то можно сказать, что он ниже их во всех других отношениях: так что как жизненная энергия находится, по-видимому, в обратном отношении к массе, так и ум развивается в ущерб жизненности.

Эти замечания приложимы также к коллективным существам: и здесь сила сцепления, энергия группы имеет свои границы, чем определяются и границы самой группы.

Единство с наибольшею силою обнаруживается в семействе и, по-видимому, достигает максимума сосредоточенности в то время, когда семейство молодо и состоит только из трех индивидуумов, мужа или отца, супруги или матери, и ребенка. Но лишь только с возмужалостью ребенка и его браком появится новая пара, тотчас семейные узы начнут слабеть; родительская власть уменьшается, затем разделяется. Поэтому в племени уже менее органической силы, чем в семействе. Предположите, что в племени, состоящем из трех и даже четырех поколений, молодые пары, вместо того чтобы жить под общим кровом, устроятся от него в некотором расстоянии: один уже факт отдельного жительства нанесет новый удар племени; эти пары будут уже настоящими семействами, проявляющими свое собственное единство и неприкосновенность и стоящими во враждебном отношении к первоначальному семейству. Чтобы ни делал тогда патриарх, он во всяком случае, будет иметь менее власти, чем отец, потому что ему придется принимать в соображение волю своих детей и внуков.

И так выставим принцип, столь же верный на опыте, как и рациональный, что *во всяком организме сила единства находится в обратном отношении к массе*; и что, следовательно, *во всякой коллективности органическая сила теряет в действии то, что выигрывает в пространстве, и наоборот*.

Этот закон универсален; он господствует как в мире духовном, так и в физическом; он входит в философию, науку, право, литературу, искусство, поэму, историю и пр. Без единства нет истины, красоты, даже нравственности. Система без единства — противоречие; двойственное правосудие — несправедливость.

Приложим этот закон к политике: государство, по существу своему, едино, нераздельно, неприкосновенно: чем более увеличивается его население и территория, тем более должна ослабевать в нем сила сцепления, правительственное единство, под страхом, в противном случае, вызвать тиранию и затем распадение. Пусть это государство устроит в некотором расстоянии от себя выселки или колонии: рано

или поздно эти колонии или высылки преобразуются в новые государства, которые сохранят с метрополией лишь федеративную связь, или даже прервут всякую связь.

Сама природа представляет нам подходящие примеры. Когда плод созрел, то отпадает и создает новый организм, когда молодой человек возмужал, он оставляет своего отца и мать, говорит книга Бытия, и прилепляется к жене своей; когда новое государство может само удовлетворить своим нуждам, оно собственным почином провозглашает свою независимость: по какому праву метрополия обращается с ним как с вассалом, делает из него предмет эксплуатации, собственности?..

Таким образом освободились Соединенные Штаты от Англии; Канада также сделалась независима, если не официально, то по крайней мере фактически; Австралия уже отделяется, с согласия не мешающей этому отделению метрополии, точно также и Алжир со временем преобразуется в африканскую Францию, если ради каких-либо гнусных расчетов, мы не удержим его в нашем подчинении силою и нищетой. Наконец таким же образом основала повсюду свободные колонии древняя Греция, возрастившая по берегам Средиземного моря цивилизацию, гораздо высшую, чем сменившее ее впоследствии римско-императорское и преторианское единство.

Если бы оказалось необходимым подкрепить эту теорию политического единства и размножения противоположными примерами, то за ними недалеко ходить. Когда греческие государства были поглощены Македонией, то греческие республики покончили свое существование. Когда Рим посредством завоевания присвоил себе всю Италию, Италия мало по малу обращается в дикое состояние и сам Рим, недостаточный центр для стольких народов, изменяет форму своего правительства и теряет свободу. Когда весь мир делается данником империи, льстившей себя надеждою доставить ему право и покой, мир начинает распадаться и не находит ни права, ни покоя. Тогда императорский Рим отступает перед своим собственным делом; он противоречит и изменяет себе во всем; дает данническим народам право гражданства; вместо одного императора учреждает четырех и таким образом своими собственными руками готовит то великое распадение, которое, в сущности, ничто иное, как возвращение, хотя и не полное, к первоначальным единствам.

Более, чем когда либо, принцип единства, составлявший нашу надежду, мучит теперь нас; и это потому, что его никогда еще не понимали так мало и не прилагали так плохо. Республики и монархии бросаются в унитарную бездну, и страшнее всего — что они, утверждая излишества унитаризма, как какие-то священные права, в тоже время с такою же страстью добиваются признания совершенно противоположного

принципа, национальности¹.

Такое заблуждение столь обще, глубоко и застарело; из прежнего *права завоевания*,

¹ Что единство власти, не только в том, что оно имеет в себе разумного и законного, но даже и в самых крайних своих требованиях, составляло с 1789 г. постоянную заботу наших публицистов и государственных людей, в особенности доказывалось текстом республиканской и демократической конституции 1848 г. Но кому теперь известно содержание этой конституции, кто о ней заботится? Кто, по прочтении её, усмотрит в ней главную мысль? Кому придёт в голову, что величайшей заботой её авторов было охранение Республики от республиканизма её учреждений? Никто, даже сам почтенный Г. Дюпен, издавший комментарий на это образцовое произведение. Поэтому читатель не мало удивится, если узнает и убедится собственными глазами, что конституция 1848 г., произведение социалистической анархии, по уверению критиков партии золотой середины (*juste-milieu*), была задумана, изготовлена, обсуждена и голосована в самом монархическом духе. Из пятнадцати подобных актов, хранящихся в наших архивах, ни один не свидетельствует в такой степени о привязанности Франции к монархическим правам и порядкам.

В особенности поучительно *Введение* : точно читаешь проповедь пастора Конреля. Оно начинается крестным знаменем и кончается *Gloria Patri*. Я приведу только некоторые места из его II и V глав, относящиеся прямо к моему предмету:

«Пред лицом Бога... французская республика есть демократическая, единая и нераздельная.» — Этим ничего не выражается; при появлении своём на свет это нераздельное единство не больше атома. Но для большей ясности поставьте такой вопрос: почему бы французской республике, демократической, как уверяют, не разделяться на несколько самостоятельных единиц? Не будет ли это еще демократичнее?.. Смотрите же, как чудовище разовьется из своего зародыша и развернется перед вами.

Глава V . «Она (Республика) уважает чуждые национальности, заставляя также уважать свою собственную; не предпринимает никакой войны с завоевательной целью и не употребляет своих сил на подавление свободы какого-либо народа.» Разумная благотворительность начинается с самого благотворителя, говорит пословица. Если таков должен быть дух новой республики, то почему приведение в исполнение такого доброго намерения не начала она с самой себя призыванием к существованию национальностей, из которых составляется её единство? Неужели составители конституции 1848 г. в самом деле воображали, что нельзя считать настоящими национальностями 12 или 15 совершенно различных народов, соединение которых образует то, что называется вообще французскою нацией?

«Ст. 1-я. Верховная власть присуща *всей массе* французских граждан. Ея отправления не может присвоить себе никакая часть народа.» Продолжаю вопросы. Совершенно согласен, что часть не должна управлять целым; но почему же каждой части не управляться самой? Кто от этого пострадает?

«Ст. 10-я. *Всем* гражданам одинаково доступны *все* общественные должности.» Я поборник равенства перед законом и относительно занятия должностей. Но здесь необходимо установить различие: есть должности *общегосударственные* (*generales*), которые должны быть доступны всем, и *местные*, к занятию которых, кажется, следовало бы допускать только местных жителей.

«Ст. 15. Всякий налог устанавливается для *общей* пользы.» — Как? Налог в Бретани устанавливается для Савои, а Пиренейский для Фландрии, и наоборот! Пусть еще так относительно общих издержек; но относительно департаментских расходов? Какая же цель этой горячки обобщения? Разве недостаточно, на случай несчастья, какого-либо договора взаимного страхования?

«Ст. 18. Все общественные власти, как бы они ни назывались, исходят от народа.» — Здесь приложимо замечание, сделанное по поводу статей 1-й и 11-й. Впрочем статья эта совершенная копия монархической формулы: *Всякая юстиция исходит от короля*.

«Ст. 19. Разделение властей есть первое условие свободного правительства.» — Прибавьте, и честного. Но еще недостаточно разделить власти по роду их деятельности; здесь говорится об авторитете правительства, администрации, юстиции, полиции и т. п. Что мешает распределить все это так, чтобы каждая местность имела свою долю власти? Демократия, в сущности, склонна к делимости; только одна монархия любит нераздельность. Члены нашего учредительного собрания не обратили внимания на это обстоятельство.

«Ст. 20. Французский народ вручает законодательную власть *одному* собранию.» — Опять *единство*! Как будто две палаты не были унитарны!

которое его несколько извиняло и которое в настоящее время можно считать уничтоженным, оно перешло так незаметно в основные законы каждого государства, оно

«Ст. 43. Французский народ вручает исполнительную власть *одному* гражданину, называемому Президентом». Опять единство!

«Ст. 23. Избрание представителей имеет в основе своей *население*». — Этого мало; следовало бы принять в расчёт, при выборах народных представителей, капиталы, промышленность, большую или меньшую густоту населения и т. п. Наполеон 1-й лучше понимал дело; его добавочный акт (*acte additionnel*) в этом отношении отличается большим республиканским духом, чем конституция 1848 г.

«Ст. 30. Выборы производятся *по департаментам и посредством баллотирования разом всех представителей от департамента*». — Электоральная путаница в видах известного обобщения, напоминающая не республику, а монархию.

«Ст. 34. Члены национального собрания — *представители* не департамента, который их назначает, а *всей Франции*». — Ложный принцип, вовсе некстати заимствованный из конституции 1793 г.; члены собрания — представители тех, кто их выбрал, и этой истины не изменит никакая ваша фикция, потому что иначе и быть не может.

«Ст. 35. Они не могут принимать *обязательных инструкций* (*mandat impératif*)» — Разумеется, если они депутаты всей Франции или, другими словами, ничьи. Но совсем иное дело, если считать их, согласно действительности и здравому смыслу, депутатами их избирателей. Тогда инструкция избирателей может быть обязательна, если не во всех отношениях, то хоть в некоторых, что и действительно бывает.

«Ст. 36. Они *неприкосновенны*». — Т. е. они выше своих доверителей. Это нелепость.

«Ст. 46. Президент назначается посредством *всеобщего и прямого* голосования». — Если бы он назначался собранием, то был бы простым чиновником; избранный же всеобщим и прямым голосованием 40 миллионов человек, он государь, что и доказали события.

«Ст. 64. Президент назначает и смещает *всех* сановников и должностных лиц республики». Несвойственно, но монархически. Ст. 65 идёт еще далее: «Президент республики имеет право перемещать и отрешать агентов администрации, *избранных гражданами*». За одно уж объявить, что муниципалитеты ничто иное, как места, подчинённые префектуре. Позвольте же спросить вас, республиканцы 1848 г., с какой стати осуждаете вы теперь императорскую централизацию?

«Ст. 71 и след. Учреждается государственный совет, председательство в котором по закону принадлежит президенту республики». — Таким образом все заботливо пригнано к *единству*, законодательство, исполнительная власть, назначение на все должности, перемещение и отрешение муниципальных агентов, выбранных гражданами, регламентация, контроль.

«Ст. 77. В каждом департаменте учреждается префектура; в каждом округе подпрефектура; в каждом кантоне кантональное правление; в каждой общине муниципальный совет». — Нельзя не прийти в изумление при виде задуманной таким образом иерархии! Когда-то толковали о муниципальных вольностях. Конституция же 1848 г. сваливает в одну кучу префектуры, подпрефектуры и муниципалитеты, подводя их под одну категорию, но оставляет, впрочем, за собою право установить впоследствии способ назначения миров и их помощников. Этот вопрос был порешён правительством Наполеона III, и притомъ, нельзя не сказать этого, в смысле республиканской конституции 1848 г. Впрочемъ такимъ же образом понимала дело и конституция 1793 г., что не мало облегчило Наполеону I установить организацию автократизма в 1799, 1802 и 1807 годах.

«Ст. 81. Правосудие отправляется *во имя народа*». Мистическая формула, которая означает вот что: сановники, на которых возложено отправление правосудия и которые, перестав быть органами божественного права, должны считаться истолкователями совести своих сограждан, быть ими избираемы и перед ними ответственны, на деле оказываются совершенно независимыми от своих сограждан и чуждыми той местности, где они заседают, потому что назначаются президентом республики, получают жалованье от центральной власти, наконец пользуются несменяемостью. Стоило ли ради этого отрицать божественное право?

«Ст. 91. Учреждается *верховный суд*». Точь въ точь в первую империю, как будто обыкновенные суды не стоятъ надъ нами в недосыгаемой высоте. Несчастные республиканцы!

«Ст. 104. Общественная сила обязана повиноваться». — Статью 50, кроме того, определено, что президент республики начальствует над вооруженной силой. Таким образом в переворот 2-го декабря 1851 г. ни национальные гвардейцы Парижа и других городов, ни военный люд не имели права,

так ловко к ним пристроилось; с целью одурачить общественное мнение и обманут критику, оно сумело окружить себя столькими ложными оговорками, видимыми гарантиями, обманчивыми уступками, ничего не значащими ограничениями, что мы считаем необходимым посвятить ему еще одну главу, которую постараемся сделать, по возможности, короче и легче для читателя.

в качестве вооруженной силы, воспользоваться против этого беззакония статьей 110-й, по которой «Охранение конституции доверяется защите и патриотизму всех французов».

Они не могли сопротивляться, хотя бы их гражданская совесть оказалась в противоречии с обязанностью повиноваться президенту, их непосредственному начальнику. Прежде всего их долг был повиноваться, а затем, сняв мундиры и сложив оружие, они должны бы были спокойно и почтительно заявить свой протест в мэриях и казармах, если нашлось бы на то время.

Вот в каком духе была задумана конституция 1848 г., из которой я привел кое-что для курьеза, вот памятник республиканского французского гения XIX века. На нее потратили, по крайней мере, 400 дней в глубоких размышлениях и соображениях, 900 избранников демократии, а если считать на наличные деньги, то она обошлась в 2.250,000 франков, не считая издержек на канцелярии, буфет, освещение и отопление, не говоря уже о нетерпении страны, упадке ценностей, застое в делах и т. п.

Глава VI. Общая критика конституций

Как, вследствие крайностей унитаризма, нарушено политическое равновесие и поставлены в борьбу друг с другом государство и общество. — Рассмотрение средств, предлагаемых для восстановления этого равновесия: пересмотр или усовершенствование конституций, коллективное самодержавие, разделение властей, муниципальное устройство. — Бесполезность всех этих паллиативных мер.

Припомним сначала, что все конституции, различаясь по тону и цвету, в сущности, тождественны: положение это доказано уже рядом приведенных нами примеров, впоследствии же оно уяснится для нас еще более. Приверженцы всякой системы хлопочут особенно об единстве. Действительно, нельзя не согласиться, к несчастью, что единство служит для них принципом.

«Власть едина, нераздельна, всеобща и неограниченна», говорит автократ. Против этого не стоило бы спорить, если бы здесь не шла речь о прерогативе монарха, представляющего политическую группу. Как нечего бояться родительской власти, которая, по природе своей, в семействе является покровительствующей, благотворительной и преданной, точно также и королевскую власть в государстве можно вполне считать доброю и полезною, равно как и рациональною, так как она имеет в основе своей единство. Но династ добивается совсем иного: для него политическая группа, которою он начальствует, не имеет границ; он намерен царствовать над миллионами душ и над тысячами квадратных миль так, как царствовал бы над кланом или каким-либо городом, в котором был бы наследственным владыкой: претензия эта столь же гибельна, как оскорбительна и нелепа. В ней-то и заключается принцип монархической тирании, самой старой из всех.

«Республика едина и нераздельна», говорят в свою очередь демократы. В этом они не ошибаются, какой бы смысл мы ни придавали республике, считая ли ее ассоциацией граждан, даже городов, или правительством. Всякая разделившаяся республика погибнет: это верно и этим в некоторой степени оправдывается поклонение республиканцев пред единством и их страх перед разделением. Но они сами впадают в заблуждение и тиранию деспота, когда отказываются от понимания той истины, что как граждане все равны пред законом и в избирательных собраниях, так равны и отдельные местности пред верховной властью и правительством, в качестве юридических лиц или коллективных индивидуальностей, и при таком непонимании стремится к подчинению всех групп одному авторитету, одной администрации. В этом непонимании коренится принцип республиканской или демократической

тирании, наиболее тяжелой, а потому и кратковременной.

«Верховная власть едина и нераздельна», поучает золотая середина (*juste-milieu*); но она отправляется коллективно королем (или императором), палатой перов (или сенатом) и палатой депутатов. Но что толку в этой коллективности правительства, если в таком большом государстве, как напр. Франция или даже Бельгия, местности остаются в нераздельности; если все части общественного тела, насколько возможно, подчинены одному и тому же авторитету, законодательству, правосудию, администрации, надзору, системе просвещения, и т. п.? Что доказывает это мнимое соглашение монархического принципа, буржуазного интереса и демократического или республиканского элемента, к чему оно годно?

Из вышеизложенного видно, что вся разница между конституциями заключается в том, что в одной конституции центр правительства один человек, в другой — собрание, в третьей — 2 палаты с королем.

Демократический идеал должен состоять в том, чтобы управляемая масса была в тоже время и управляющей, чтобы общество было тождественно и одно и тоже с государством, чтобы народ был правительством, подобно тому, как в политической экономии производители и потребители одни и те же лица. Я, разумеется, не отвергаю достоинств каждой из различных правительственных систем, смотря по обстоятельствам и с чисто правительственной точки зрения: если бы пространство государства не превосходило величины какого-либо города или общины, то последним можно бы было предоставить на волю выбрать любую систему. Но не следует забывать, что речь идет об огромных территориях, которые насчитывают в себе тысячи городов, местечек и селений и которыми ваши государственные люди думают управлять по законам патриархальным или основанным на завоевании, и собственности, что представляется невозможным в силу самого закона о единстве.

Я особенно напирал на это замечание, самое капитальное в политике.

Всякий раз, когда люди с женами и детьми собираются вместе, заводят жилища и земледелие, начинают заниматься различными промыслами, завязывают, как соседи, связи друг с другом и делаются таким образом солидарными, они образуют то, что я называю естественною группою, которая вскоре преобразовывается в государство или политический организм, представляющий, в своем единстве, независимость, жизнь или свое собственное движение (*autokinesis*) и самоуправление.

Подобные группы, будучи смежные, могут иметь общие интересы; поэтому они входят в соглашение между собою, соединяются и, посредством такого взаимного страхования, образуют высшую группу; но, соединяясь в видах гарантии своих интересов и развития своего богатства, они никогда не доходят до самоотречения пред этою высшею группою, никогда не приносят самих себя в жертву этому новому Молоху. Подобная жертва невозможна. Все эти группы, как бы они о себе ни думали и как бы ни поступали, все-таки государства, т. е. неразрушимые организмы;

между ними могут завязаться какие-либо новые отношения, договоры взаимности, но они не могут лишить себя своей неограниченной независимости, как член государства не может, в качестве гражданина, утратить своих прав свободного человека, производителя и собственника. Лишить их независимости значило бы создать несогласуемый антагонизм между верховными властями — общою и отдельными, восстановить власть на власть, одним словом, вместо развития единства, организовать разделение.

Изменяйте хоть каждые полгода свою общую конституцию, разнообразьте до бесконечности свою политическую систему, но если не изменится принцип унитарного обобщения, если местности или естественные группы по прежнему будут осуждены на поглощение высшей агломерацией, которую можно назвать искусственной, потому что в ней нет ничего необходимого и она по своей видимой цели ничто иное как произведение заблуждения и стремится к невозможному; если наконец централизация останется первым законом государства, правительственной панацеей, то общество, вместо того, чтобы идти вперед, обратится на самого себя, сделается революционным, и, если положение ухудшится, быстро направится к упадку и гибели.

Наши законодатели и составители конституций, начиная с 1789 г., чуяли эту опасность. Они признавали непрочность своих систем, хотя не понимали её причины: поэтому они выставили принцип *усовершенности* своих конституций. Старый порядок (*ancien régime*) или божественное право и не подозревал возможности такой усовершенности (*perfectibilité*); по его мнению, неизменность учреждений доказывала их совершенство или, что тоже, божественность их происхождения. В этом старый порядок был отчасти прав, точно также, как теоретики 1789 г. со своей конституционной усовершенностью отчасти заблуждались. Мы уже сказали, что народы увлечены в правительственный цикл, который можно рассматривать как приготовительный фазис: с этой точки зрения можно сказать, что в исторической последовательности наших конституций есть нечто в роде прогресса. Но когда общество отыщет точку опоры и начнет жить нормальною жизнью, политическая конституция не станет изменяться и тогда уже нельзя будет говорить о прогрессе. Неизменность движения исключает подобное понятие.

Притом же всякий может убедиться, каким скудным ресурсом была для Франции с 1789 г. эта мнимая конституционная усовершенность. Наши правительства держались лишь доверием, которое им оказывала страна, и отчасти своею новизною, всегда вызывавшею надежды, показав же себя на деле и утратив доверие, династии падали окончательно. В доказательство приведем Консульство и первые года Реставрации и царствования Луи-Филиппа. Кто теперь серьезно думает об усовершенствовании конституции 1852 г.? Она останется тем, чем есть, или будет заменена другою, причем, надеюсь, авторы новой конституции не станут объявлять о вечности своего творения под предлогом усовершенности и прогресса. После конституций 1791, 1795, 1848 и 1852 годов, которые все предвидели и заранее регламентировали свой пересмотр, было бы глупо повторять, что *конституция*

усовершеншаема.

Порок политической системы, порок, который можно назвать органическим, заключается в том, что провинции и города, из которых состоит государство и которые, как естественные группы, должны пользоваться цельною и полною автономией, управляются не сами собою, как бы следовало вошедшим в ассоциацию городам и провинциям, а центральною властью и как завоеванное население. С удержанием такого порядка что толку в перемене формы правительства? Можно ли думать, что усовершенствование конституции восполнит собою уничтоженные общественные вольности? Такое предположение нелепо.

В видах уменьшения последствий такой смертоносной сосредоточенности, кроме законного усовершенствования конституции, было придумано еще коллективное правительство. Я уже цитировал эту статью хартии: «Верховная власть, единая и нераздельная, отправляется коллективно королем, палатою перов и палатою депутатов.» Король — представитель единства, центральной силы и общности интересов, перы — именитые лица, по большей части уроженцы департаментов. Депутаты — выборные департаментов пропорционально населению последних. Таким образом каждый город, каждая провинция имеют в палатах своих естественных представителей. Исполнительная власть вверена министрам, по большей части, если не исключительно, уроженцам департаментов, и которые должны быть поддерживаемы большинством палат. Наконец все французы пользуются правом обсуждать действия правительства и все они одинаково могут занимать общественные должности. Неправда ли, сколько гарантий? и каким доверием должна была проникнуться нация, когда король Людовик XVIII предложил ей эту хартию! Она забыла и нашествие, и присутствие неприятеля в городах, и все несчастья последних войн.

Печальное заблуждение! Обрати внимание, читатель, во первых на то, что хотя верховная власть отправляется коллективно, тем не менее она, по существу своему, едина и нераздельна, ею действие по необходимости унитарно, она простирается на всю страну и поглощает ее, она не может ничего оставить вне себя, не противореча своему принципу, не идя против своей цели, не подвергаясь гибели; во вторых, с созданием коллективной верховной власти созидаются соперничества, оппозиции, антагонизм. Какой труд выбрать из большинства 7 или 5 человек способных отправлять министерские обязанности, согласных между собою, приятных короне, и которые притом одинаково хорошо были бы приняты обеими палатами. Сколько взаимных пожертвований необходимо при этом сделать, и все это в пользу единства, в ущерб отдельным местностям! Сколько затруднений представляется с парламентом! сколько интриг! какое тяжелое положение короля!.. В июльской монархии был случай, когда Луи-Филипп одно время не мог составить министерства; он сделался подозрителен всем партиям в палате, непопулярен в столице и в департаментах. Эта коллективность власти просто пустое слово, которым прикрывается роковое разложение, грозящее всем правительствам, как бы они себя не называли и в какую бы форму ни облекались. Для поддержания своей прерогативы и для

противодействия увеличивающемуся разложению, каждый участник в верховной власти будет стараться завладеть всей властью: король исподволь будет заботиться об обеспечении за собою послушного большинства в палатах; министерство захочет стать выше короля; оппозиция пустится в доносы на камарилью; одним словом, в этой святой коллективности страна ничего не увидит кроме раздора. Я, не скрываясь, скажу, что при существовании централизующего правительства нахожу вполне естественным делом со стороны автора 2 декабря подчинение себе сената и палат; от этого, как известно, система не улучшилась, но за то стала логичнее, притом же необходимо было наложить на нас молчание после прений от 1830 до 1851 г. Что же касается системы Сийеса, то средства, предлагаемые им для избежания указанных затруднений, не больше как метафизический фокус-покус, имеющий целью установление той же парламентарной монархии.

Так как коллективное отправление власти не дало хорошего результата и оказалось призрачным, то вздумали разделить власть, оставляя неприкосновенным принцип единства. Ухватившись за экономический принцип труда или разъединения промышленности, законодатель сказал: власти будут в государстве раздельны; тому же закону подлежат должности и места. В этом условии свободного правительства. Таким образом одно — законодательная власть и другое — исполнительная; одно — администрация и другое — юстиция; одно церковь и другое университет¹, и т. д. до мирового судьи, который совсем не то, что коммерческий судья, и до полевого сторожа, который не одно и то же лицо со сторожем над лесами и водами.

Сохрани меня Бог от насмешек над принципом, который я сам хвалил и которого сила и плодотворность признаны всеми. Но кому здесь не видно, что законодатель, паря в конституционных высотах, потерял из виду землю, и из тумана, в котором вращалась его мысль, впал в самое жалкое заблуждение?

Разделение промышленности имеет место при двух различных условиях; во-первых, когда промышленности независимы одна от другой и каждый предприниматель остается абсолютным распорядителем своих операций; так комиссионер и извозчик, хотя занимаются одинаковыми операциями, остаются не солидарными между собою и вполне свободными друг от друга; так же как медик и аптекарь; мясник и торговец жареным мясом; булочник и хлебный торговец, и т. д.

То ли бывает в правительстве? Разумеется нет; такое разделение властей разрушило бы единство, не только то завоевательное единство, которое стремится к подчинению одной особой власти независимых по природе групп, живущих своею собственною жизнью и проявляющих свою волю; но и то разумное единство, которое, исключая всякую идею о разделе, действует в надлежащих границах. Другими словами, при таком разделении властей станет невозможна не только

¹ Этим именем означаетсся во Франции как вся совокупность государственных учебных заведений, так и высшее управление ими. *Прим. перев.*

императорская централизация, но какое бы то ни было правительство, какое бы то ни было государство.

Во-вторых, промышленное разделение, проявляясь в обособлении приемов в одном и том же производстве или предприятии, совершается среди одной и той же фабрики, мастерской или мануфактуры; в пример такого разделения можно привести из А. Смита фабрикацию булавок и из Ж. Б. Сея фабрикацию карт. В этом случае отдельные занятия уже не независимы, а поставлены под высшее управление хозяина, во имя и на счет которого исполняются различные работы. Вот таким-то образом и были организованы власти в наших правительствах. Разумеется, порядок от этого в выигрыше: течение дел вполне обеспечено; во всех отношениях система действует успешнее. Но какая же от неё польза для свободы городов и провинций, а следовательно, для свободы самих граждан, для устойчивости самого правительства? Разве при ней уменьшится концентрация, поглощение, антагонизм, изгладятся разделения и раздоры, наконец разве будет покончено с революциями? Принцип разделения властей в своем истинно полезном отношении во Франции древнее революции 1789 г., которая лишь улучшила его приложение: с тех же пор, считая и революцию 1789 г., у нас было 10 или 12 перемен правительства. Таким образом в вопросе, который нас теперь занимает, принцип разделения властей не имеет никакого значения.

Против подавляющей централизации искали помощи в *муниципальной и департаментской организации*, много толковали об этом предмете во время реставрации и царствования Луи-Филиппа; сам Наполеон I интересовался этим вопросом, который поднят вновь при его преемнике. Приверженцы золотой середины (*juste-milieu*), наиболее многочисленные в нашей стране, особенно сильно занялись обсуждением этой организации. Им кажется, что власть делается устойчива, если общине (*commune*) предоставлена будет известная инициатива; что этим путем можно смягчить централизацию и в особенности избежать федерализма, который в настоящее время для них столь же ненавистен, как был ненавистен, но по другим причинам, патриотам 1793 г. Последователи золотой середины искренно умиляются пред швейцарской и американской свободой, о ней они кричат нам в своих книгах; ею они пользуются, чтоб пристыдить нас за обожание власти; между тем сами ни за что в мире не согласятся затронуть то прекрасное единство, которое, по их словам, составляет нашу славу и которому завидуют будто бы все нации. С профессорскою самоуверенностью они обзывают крайними и неумеренными тех писателей, которые, заботясь о логике и оставаясь верными истинным понятиям права и свободы, требуют выхода раз навсегда из доктринерского логического круга. Г. Эдуард Лабулэ служит образчиком этих мягких умов, способных понять истину и указать ее и другим, но для которых вся мудрость заключается в урезывании принципов невозможными сделками; которые не прочь *ограничить* государство, но под условием ограничить при этом и свободу; которые хотят урезать когти первому, но с тем, чтобы и второй были подрезаны крылья; у которых, одним словом, мысль, теряясь перед сильным и широким синтезом, впадает в бессмыслицу. Г. Э. Лабулэ — представитель той группы людей, которая требует от императорской автократии

признания так называемых июльских гарантий, и в то же время задается миссией разбивать социалистические и федералистические стремления. Ему принадлежит эта прекрасная мысль, которую я хотел было поставить эпиграфом к настоящему сочинению: «Когда политическая жизнь сосредоточена в одной трибуне, страна делится на две части, оппозицию и правительство.» Поэтому, пусть Лабулэ и его друзья, такие, по-видимому, поборники муниципальных вольностей, ответят мне только на один вопрос.

Община, в сущности, подобно человеку, семейству, всякой разумной и моральной индивидуальности или коллективности, есть существо самодержавное. В качестве такового, община имеет право управляться сама собою, облагать себя налогами, распоряжаться своей собственностью и доходами, открывать для своей молодежи школы, назначать в них профессоров, заводить свою собственную полицию, жандармерию и гражданскую гвардию; поставлять своих судей, иметь свои газеты, собрания, частные общества, склады, банк и т. п. Община постановляет решения, отдает приказания: отчего бы ей не издавать для себя и законы? У ней своя церковь, свой культ, свое выборное духовенство; она гласно, в муниципальном совете, в газетах или в кружках, обсуждает все происходящее в ней и вокруг неё, касающееся её интересов или возбуждающее её мнение. Вот что такое община; вот что такое коллективная, политическая жизнь. Жизнь эта едина, целостна, полна действия, и это действие всеобщее; жизнь эта отталкивает препоны, она не знает других границ, кроме заключающихся в ней самой; всякое внешнее принуждение для неё противно и смертельно. Пусть же скажут нам Г. Лабулэ и его политические единомышленники, как думают они согласить эту общинную жизнь с их унитарными исключениями; как они избегнут столкновений; как они полагают удержать рядом с местными вольностями центральную прерогативу, ограничить одни и остановить от захватов другую, в одной и той же системе установить независимость частей и авторитет целого. Пусть они объяснятся, чтобы о них можно было знать и судить.

Середины нет: община будет самодержавна или подчиненна, все или ничего. Сколько бы вы ни давали ей преимуществ, но если она не будет зависеть только от самой себя, если над нею будет царить высший закон, если большая группа, под названием республики, монархии или империи, в которую она будет входить как часть, будет объявлена выше её, а не выражением её федеральных отношений, то неизбежно случится, что когда-нибудь она окажется в противоречии с этой большей группой, и тогда возникнет столкновение. В столкновении же логика и сила решат, что должна взять верх центральная власть, и решат без рассуждений, без суда, без сделки, так как спор между высшим и низшим не может иметь места, как несообразность и нелепость. И таким-то образом после целого периода доктринерской и демократической агитации мы снова придем к отрицанию *деревни* (*esprit du clocher*), к поглощению всего централизацией, к автократии. Идея *ограничения* государства, с удержанием принципа централизации групп, оказывается поэтому непоследовательностью, если не нелепостью. Нет других границ государству кроме тех, которые оно само себе поставит, оставляя на долю муниципальной и частной инициативы то, о чем оно пока не заботится. Но как

деятельность государства безгранична, то может случиться, что оно предпримет распространить свое вмешательство и на то, чем оно пренебрегло вначале; и так как оно сильнее, говорит и действует всегда во имя общего интереса, то не только добьется того, чего требует, но будет еще и право в глазах общественного мнения и судов.

Пусть эти либералы, которые так сильны, что говорят о границах государства, сохраняя его верховность, скажут уж нам заодно, где будет граница свободы индивидуальной, корпоративной, местной, общественной (*sociétaire*), граница всяческой свободы? Пусть они, считающие себя философами, объяснят нам, что такое свобода ограниченная, стесненная, подчиненная, находящаяся под надзором; свобода, которой говорят, надевая ей на шею цепь и привязывая к столбу: «иди до этого места, но не дальше». Как последнее средство уравновесить и сдержать центральную власть и защитить от её захватов общественные вольности, придумана была всеобщая и прямая подача голосов. О ней мы выскажемся после, а теперь закончим общую критику конституций.

Глава VII. Разбор автократической конституции 1804 года

Централизация, отрицая верховную власть групп, является фикцией, которая существует временно лишь с согласия самих групп. — О династическом принципе в новейших конституциях. — Определение *тирании*.

Если читатель усвоил себе мысли, изложенные в предшествующих V и VI главах, то должен был вынести вполне ясное и непосредственное убеждение, без всякого умственного напряжения или усилия, в том, что централизация, вследствие своей неумеряемости, стремясь к удержанию в нераздельности групп, по существу своему самостоятельных, и к деспотическому управлению местностями, добровольно вступившими в ассоциацию, нарушает тот самый принцип, которым она старается оправдать себя, т. е. принцип политического единства; что при этом возникает антагонизм между центральным управлением и местными автономиями; что последствием этого антагонизма является искажение цели правительства, которое отныне прилагает все свои усилия на утверждение и развитие своего преобладания; и как в этой роковой борьбе общественное мнение склоняется в пользу централизации, то верховная власть постоянно торжествует над вольностями, расплачиваясь впрочем за свои победы периодическими революциями. И в самом деле, так как одно и то же давление присуще каждой правительственной форме, то инстинкт масс побуждает их после известного времени страдания стремиться к перемене установленного порядка, что, при существовании централизации, заставляет страну лишь вращаться в кругу одинаково ложных гипотез, за которыми следуют одни те же разочарования. Форма изменяется, но тирания остается неизменною.

И все-таки, несмотря на опыт и логику, некоторые из этих гипотез, можно бы даже сказать все, в разные времена имеют за собою более или менее значительное число приверженцев. Многие убеждены, что если напр. республика, — они смешивают республику с демократией, — будет искренно проведена в действительности, то составит счастье народа и решительно всех отклонит от монархии. Но, замечают они, мы недостаточно *добродетельны*, чтобы быть республиканцами! Другие, и таких, если не ошибаюсь, теперь большинство, отдают преимущество той смягченной, умеренной, консервативной и соглашающей монархии, которая, по их словам, одинаково заботится о свободе и власти, одинаково умеет ужиться с оппозицией и министерствами, и цель которой вполне выражена в данной ей кличке: *Золотая середина*. Есть наконец и такие, которые решительно высказываются за единоличное и сильное правительство и для которых сочетание цезаризма с простонародьем есть

идеал политического общества.

Вот эти-то упорные предрассудки, которых не могут поколебать ни противоречия, ни неудачи, должны мы разбить; и надеюсь, что мы достигнем этой цели, если сосредоточим на самом дорогом для них пункте, централизации, возможно большее количество лучей нашей критики. Так как уже доказано, что в правительственном отношении все системы, в сущности, равноценны, что главное их дело централизация, что они различаются между собою лишь конституцией, или, как говорят астрономы, центральным уравнением, то на этот центр мы теперь и перенесем наше суждение. С этой точки зрения для достижения цели нам достаточно рассмотреть в последовательном порядке четыре члена конституционного цикла или серии, которых мы назвали *крайними и средними членами*.

Я сказал уже, что какова бы ни была конституция политического центра или, другими словами, центральной власти в государстве, составленном из многих самодержавностей или естественных групп населения; пусть центр этот представляется императором, королем, директорией, собранием, или же всем этим вместе; пусть он будет абсолютен или ответствен; пусть его подчинят правильному контролю, или же избавят от этого; пусть его ограничат в преимуществах, или дадут ему неограниченную власть: во всяком случае этот центр, шкворень всей системы, останется более или менее конституционной фикцией, но никогда не сделается полной реальностью, в силу самой природы вещей, по которой всякий организм, выводящий из своих естественных границ и стремящийся захватить или присоединить к себе другие организмы, теряет в силе то, что выигрывает в пространстве, и клонится к разложению. Я сказал уже, что правительство, таким образом устроенное, принужденное везде давать о себе знать, последовательно принимать все формы, быть всем понемногу, не может назваться нераздельным и в этом отношении погрешает против существенного закона власти, что поставленное таким образом в постоянное противоречие с самим собою, оно в конце концов истощит свой собственный абсолютизм и погрузится в анархию. Такое явление представляет нам прежняя французская монархия, утомленная после смерти Людовика XIV антагонистическими элементами, из которых состояла нация, и вынужденная, в надежде на спасение, отказаться от своих полномочий сованием генеральных штатов.

Докажем сперва, что даже в автократическом правлении, при личности государя и династической наследственности, централизация — химера.

Из всех наших конституций, с точки зрения сосредоточения власти и поглощения государственных сил, самая логическая есть бесспорно конституция 1804 г. В действительности эта конституция даже не представляет единства, потому что она заключается в том, что в центр берется один человек и этот человек ставится на место нации, её провинций, рас, местностей, закрываемых императорским плащом. Создав первую империю, Франция официально перестала представлять систему; она стала управляться *сенатус-консультами*, продиктованными императором, из

которых первый и самый важный назван был *органическим сенатус-консультом*. Надо видеть, в чем состоял этот организм. Никогда деспотизм не выказывал такого излишества и бесцеремонности. Существование некоторых вещей можно до некоторой степени терпеть и извинять, но писать их — вечный позор для нации.

Глава I. Ст. 1. — Правительство республики вверяется императору, носящему титул *императора французов*. Правосудие отправляется во имя императора поставленными им сановниками. Ст. 2. — Наполеон Бонапарт, нынешний первый консул республики, есть император французов.

Вся наполеоновская система заключается в этой первой главе. Остальное ничто иное как пустое оглавление подробностей. Обратите внимание на исходную точку правосудия и на сочетание этих двух слов: *Республика*, или что тоже *демократия*, и *император*. Это чудовищно, но логично.

Все общество, государство, правительство, граждане, производители, самая церковь, входит в область правосудия. Правосудие, по теории, которая на место самодержавия короля поставила самодержавие народа, исходит из демократии; демократия, на основании утверждённого народным голосованием сенатус-консульта 28 Флореаля, воплотилась в ея императоре; поэтому император все, и правосудие отправляется во имя его. Вот вам и общественный договор.

Глава II. — *О наследственности императорского достоинства.*

Глава III. — *Об императорском доме.*

Глава IV. — *О регентстве.*

Глава V. — *О высших сановниках империи.*

Высшие сановники империи: великий избиратель, архиканцлер, главный казначей, коннетабль, великий адмирал (за тем следует подробное исчисление их занятий, представляющих лишь одну формальную сторону).

Глава VI. — *О главных чиновниках империи.* Перечисление в роде предыдущего, не представляющее для вас никакого интереса.

Глава VII. — *О присягах.* Перечисление чиновников, подвергаемых присяге, и формула последней.

Глава VIII. — *О сенате.* Перечисление составляющих его личностей; фантастические преимущества.

Глава IX. — *О государственном совете.* Вполне подчиненная контора, разделенная на

шесть отделений.

Глава X. — *О законодательном корпусе.* Перечисление занятий и только. Ни инициативы, ни обсуждения, ни гласности, ни контроля. Законодательный корпус вотирует налоги; но может ли он отвергать их?

Глава XI. — *О трибунате.* Он был уничтожен в 1807 г., как бесполезное колесо. Император мог бы тоже сделать с сенатом, законодательным корпусом и со всем остальным. Он ни в ком не нуждался, даже в собственной своей династии; ему довольно было бы одних исполнителей; но он любил иерархию.

Глава XII. — *Об избирательных коллегиях.* Система 1802 г. в четыре и даже пять степеней. Цензитарные условия; меры, помощники их, мировые судьи, председатели коллегий назначаются императором. (См. ниже).

Глава XIII. — *О верховном императорском суде.* Исключительное правосудие: оно неизбежно в автократическом иерархическом государстве.

Глава XIV. — *О судебном сословии.* Подробности, не имеющие серьёзного значения.

Глава XV. — *Об обнаружении законов.*

Все это было утверждено большинством 3.521,675 голосов против 2679. Наполеона обвиняли в том, что он своим честолюбием и войнами убил два миллиона людей. Если бы эти два миллиона убитых взяты были из числа 3.521,675, вотировавших империю, то я преклонился бы перед провидением, но меня смущает то обстоятельство, что большинство подавших голос за империю впоследствии стало на сторону Бурбонов и хартии.

Полагаю — не легко было бы еще более упростить и централизовать правительство и так всецело уничтожить, в пользу автократической верховной власти, вольности великой нации. Наполеон — централизатор по преимуществу; он восстанавливает дворянство, но не как институт, высший класс общества, а как орудие власти, собственно для себя; своими электоральными перегонами он уничтожает демократию, хотя и добивается её голосов; он презирает контроль буржуазного представительства, хотя и подчиняет ему свой бюджет; он гасит политическую жизнь в городах и деревнях; преобразует в иерархию естественную оппозицию элементов, борьба которых составляет душу цивилизации и обеспечивает прогресс; наконец, чтобы освободиться от своих брюмерских товарищей, сообщников его узурпаторства, сделавшихся его сенаторами, министрами, высшими сановниками и т. п., он восстанавливает в своем лице династическое право; провозглашает себя императором, источником всякого права; заставляет папу помазать себя на царство, не удостоивая сказать в своей конституции ни одного слова о церкви, которую вскоре доводит до

раскола, и выставляет себя решительно полубогом.

Конституция XII года может быть рассматриваема как усовершенствование централизаторской системы; мы уже видели, как с логикой, презирующей всякое человеческое суждение, система эта сосредоточивается и воплощается в одном человеке.

Хорошо! какой же ответ дастся на все это разумом и опытом? Троякий, уничтожающий систему и покрывающий срамом узурпатора.

Первый ответ заключается в том, что вся эта автократия существует лишь фигурально, потому что правительство большого государства содержит в себе множество интересов и воли, для которых автократ является не более как представителем, если предположить, что эти воли согласны существовать и действовать посредством представительства.

Второй ответ состоит в том, что как только автократ, представляющий столько различных волей, которые скорее терпят его, чем в нем нуждаются, не удовлетворит их, или же сделается для них противен, то может рассчитывать, что они восстанут на него и даже посягнуть на его личность.

Третий ответ тот, что если элемент цезаризма, всегда склонный к завоеванию и нетерпящий независимости, с одной стороны всего охотнее сходится с централизацией, даже ищет её и ставит ее себе в заслугу, то с другой стороны, по той же причине, элемент этот труднее всего согласить со множеством местных автономий, по поводу которых можно выразиться, что законность (Loyalisme) кончается там, где начинается их интерес и где проявляется их воля.

Монархия, выражение и символ политического единства, может быть на своем месте напр. в городе, естественной группе, которая живет своей собственной жизнью, порождает из собственных недр свое правительство, подобно матери, рождающей свое дитя, внушает ему с колыбели свою мысль, сознает себя в нем и радуется своему созданию, которое зовется мэром, бургомистром, королем, *patres conscripti* или муниципальным советом. Но этот самый государь, или исполнительная власть — природный царь в своей стране не сохраняет того же характера авторитета и законности в глазах присоединенных групп, которых частные воли всегда выкажутся, что бы он ни делал, более или менее послушными приказаниям метрополии.

Короче сказать, монархия следует во всех своих движениях за централизацией; их участь одинакова; сила одной указывает могущество другой. В этом кроется причина предосторожностей, принимаемых в новейших конституционных государствах не столько против центральной власти, сколько против самого короля; здесь источник ограничений, налагаемых на прерогативу короны, но которые имеют своим следствием лишь возбуждение монархического принципа, заставляющее его

вдаваться то в абсолютизм, то в демагогию.

Такие суждения здравого смысла подтверждаются фактами. Конституция 1804 г. первая свидетельствует против притязаний её автора. К чему этот сенат, столь послушный и раболепный, преобразованный в выгодную и почетную синекуру, но без преимуществ, без независимости, без власти, к чему, как не для прикрытия личного каприза властелина личиною прений и коллективности? К чему этот законодательный корпус, простая регистратурная палата, избираемая сенатом по списку, представляемому департаментами после трех степеней избрания, и возобновляемая ежегодно на одну пятую часть, к чему он, как не для сохранения между императором и департаментами какого-то признака общения? — К чему, спрашиваю я, все это лицемерие, все эти конституционные пошлости, как не для того, чтобы поставить преграду отдельным волям, которых нельзя уничтожить?

Император, надеясь разорить Англию, придумывает *континентальную блокаду*: тотчас же организуется контрабанда в огромных размерах; приморские города испускают страшные вопли, видя уничтожение своей торговли. Что же делает император? Он продает за деньги позволение вести торговлю колониальными товарами и становится таким образом монополистом этих товаров. Это тоже, что прежний *голодный договор* (*pacte de famine*), только без формального утверждения императорским декретом.

Чтобы разделаться с папой, Наполеон созывает собор, названный конституционным и составленный разумеется из прелатов, искренних галликан, преданных его власти, его династии и его личности. Но что же? Оказывается, что эти епископы остаются по-прежнему истинными христианами, католиками, священниками, одушевленными духом церкви, говорящей их устами, сохраняя вполне подобающее уважение к Наполеону, они становятся на сторону папы; и собор обращается в поношение для императора.

Недовольный Талейраном, порицавшим его политику, и Фуше, позволявшим иногда себе в полицейских рапортах делать почтительные замечания, Наполеон объявляет им свое неудовольствие. К чему же это служит? Фуше продолжает пользоваться полицией, но уже для самого себя; он наблюдает за императором, выслеживает его путь, проникает в его решения, предвидит его падение; и из этого немого протеста оскорбленных личностей нарождается мысль, которая через три месяца заставляет Наполеона подписать отречение от престола.

Таким образом автократ, для поддержания своей воли против воли страны, вынужден вести войну со своими собственными *подданными*, войну истребительную. Где-то я читал, что жители одной общины, расположенной на границах в неприступной трущобе, в надежде на безнаказанность, отказались от повиновения императорским декретам; община эта была окружена вооруженной силой; дома были сожжены, снесены с лица земли, виновные перебиты, женщины и дети выселены на чужбину далеко от родины. *Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant*. Император показал пример:

он уничтожил гнездо возмущения, убил людей; но воли?..

Давимые автократией, воли составляют заговоры против автократа. При этом необходимо заметить следующий факт: при старой монархии города и провинции сохраняли в широких размерах свои льготы и обычаи. Они платили, но чувствовали свое существование, были самостоятельны. Поэтому цареубийство было редко. Оно обнаруживалось лишь в религиозные войны. После революции 1789 г. централизация становится правительственным догматом и вместе с этим в ужасающей степени учащается цареубийство; оно становится эндемическим, конституционным (ст. 35 Провозглашение прав 1793 г.). Пример подает конвент: сперва он убивает Людовика XVI, затем, как бы желая выместить свою диктатуру на невинных, он убивает жену короля, сестру короля, сына короля. Потом убивает он конституционалистов или фельянов, жирондистов, Байльи, Барнава, Малерба, Лавуазье, всех имевших какое-либо значение в абсолютной или представительной монархии. Затем начинаются репрессалии: телохранитель Пари убивает Лепеллетье, Шарлотта Кордей Марата, королей тогдашней минуты; Сесиль Рено пытается убить диктатора Робеспьера, который спустя несколько недель погибает от термидорианской реакции. Секции (городские части) затевают заговор в вандемьере, якобинцы в прериале; затевают заговоры и Бабеф и оба Совета, что в свою очередь влечет за собою вандомские экзекуции и фруктидорские ссылки. Наконец директория затевает заговор против самой себя и вызывает этим узурпацию Бонапарта.

Но и Бонапарт не избегает общей участи. Его военная диктатура суровее диктатуры конвента и директории; заговор против него неистовствует. В 1800 г. заговор республиканцев и заговор роялистов; — в 1803 г. заговор Пишегрю и заговор Кадудалю; — в 1808 и 1809 гг., военный заговор, известный под названием заговора *Филадельфов*; — в 1812 г. заговор генерала Малле; — в 1813 г. роялистское волнение, ропот в законодательном корпусе; — в 1814 г. восстают города, появляются Бурбоны; охранительный сенат объявляет низложение Наполеона. Не обнаруживают ли эти факты более чем одновременность, связь между явлением и причиной? Предположите вместо всех этих властелинов-централизаторов, вместо конвента, Наполеона I, Бурбонов, Людовика-Филиппа, Наполеона III, федеральное единство, выражение договора взаимного страхования между 15 или 18 самостоятельными провинциями: неужели вы думаете, что заговор напал бы на такое единство, хотя бы оно было представляемо одним человеком, называвшимся королем?

Всего ужаснее то, что децентралистический заговор, если добьется цели после множества неудач, то не останавливается на государе, а поражает заодно и династию.

Людовик XVI убит вместе с своей семьей.

Казнен Робеспьер, а с ним и его партия, якобинцы.

Наполеон низвергнут с престола вместе с своим потомством.

Карл V изгнан, а за ним последовала в изгнание и вся его семья.

Людовик-Филипп низвергнут в свою очередь, и младшая ветвь, подобно старшей, осуждены на изгнание.

И заметьте, что ни один из этих династов не погиб за свои личные преступления или за пороки своего правительства. Людовик-Филипп был образцом отцов семейства; и если не обращать внимания на неудобства централизации и на порождаемые ею интриги и развращение, то июльское правительство было довольно сносно. Большинство направленных против него обвинений, в роде системы мира во что бы то ни стало и оставления на произвол судьбы Польши, обращаются в настоящее время в похвалу ему.

Карл X был прозван, и не без основания, *королем-рыцарем*. Самый большой упрек, какой можно сделать его частной жизни, тот, что, подобно Лафонтену, он искупал в старости чрезмерной набожностью грешки своей молодости. Что же касается до его правительства, то оно, если оставить в стороне ретроградные поползновения этого вождя эмиграции, было несравненно нравственнее при Карле X, чем когда-либо впоследствии. Робеспьер, несмотря на ужас, которым террористическая система запятнала его имя, сохранил за собою репутацию *добродетельного и неподкупного*. Он мечтал о платоновской республике, когда был захвачен врасплох возмущением. Людовик XVI обладал всеми добродетелями частного человека; никто больше его не любил своего народа; к несчастью для самого себя он был искренно враждебен идеям своего века, не верил ни в философию, ни в революцию, ни в особенности в конституционное правление. Что касается до Наполеона, то он и теперь еще народный герой, Франция все ему простила. Его администрация была просвещенна, бдительна, экономна, справедлива: ей недоставало лишь одного — либерализма.

Должно быть велико преступление унитаризма, когда такой народ, как наш, преследует его с таким ожесточением в лице лучших своих государей. Не спасают их никакие добродетели, никакая слава, и в наших распрях с властью династия всегда является солидарною с её главой; такого характера не представляет английская революция 1688 г., так как один и тот же акт, низложивший Иакова II, определил вступление на престол его зятя, Вильгельма III. Народ английский не так унитарен, как наш; у него меньше страсти к единству, а потому меньше и ненависти. Он умел обуздать династию, подчинить ее своей воле; он не вырвал ее с корнем. Не следует ли заключить из этого, что между принципами централизаторским и

династическим существует скрытая связь, которая, при возмущении, переносит преступление отца на детей. Предоставляю обсудить эту тайну самому читателю.

Сделаем вывод: политический унитаризм или, другими словами, централизация, на сколько она выражается в удержании в правительственной нераздельности групп, которые по природе автономны и по здравому смыслу должны быть независимы и лишь соединены между собою федеративной связью, есть конституционная фикция, исполненная противоречий в теории и неосуществимая на практике. В ней заключается настоящая причина тех непрерывных династических перемен, которые уже 75 лет потрясают наше общество. Поэтому настоящую тиранию в новейших обществах нельзя иначе определить, как следующей формулой: *Поглощение самостоятельных местностей одною центральною властью с целью или династического преобладания, или же эксплуатации в пользу дворянства, буржуазии или санкюлотов.*

Глава VIII. Критика конституции 93 года

О создании суверена в демократии, другими словами, об избирательной системе или всеобщей подаче голосов. — Картина избирательных систем, предложенных и введенных в практику с 89 и до нашего времени. — Эти системы, противоречащие друг другу и несогласуемые, составляют серию, подобно серии конституций. — Идеи представительного синтеза.

Конституция 1793 г., хотя только 11 годами предшествовала конституции 1804 г., составляет совершенную противоположность последней. Это и естественно. Одна представляет развитие личного авторитета, гонящего демократию, другая есть выражение коллективного самодержавия. Везде, где первая занята *императором*, вторая твердит о *народе*. Напр., органический сенатус-консульт 1804 г. ни слова не говорит о *гражданах*, их *вольностях*, *гарантиях*, *правах*; он видит лишь автократа, олицетворение массы, воплощающего в себе государство. Наоборот, конституция II года, изготовленная Кондорсе и сокращенная Робеспьером, и конституция III года, находят удовольствие в повторении *Провозглашения прав человека и гражданина*. Насколько абсолютизм страшится формул и догматов, настолько демократия их ищет. Таким образом в то время, как конституция 1804 г. разворачивается, подобно генеалогическому древу, где все исходит от императора, даже нация, и все восходит к императору, так что конституцию эту нельзя обвинить, по крайней мере с первого взгляда, в измене своему собственному принципу, конституция 93 года противоречит себе в каждой статье и приходит к ужаснейшей непоследовательности, к отрицанию самого суверена. Автократия грешит лишь против истины и фактов; демократия же изменяет самой себе.

Рассмотрим ближе эту систему.

Главный и начальный пункт в демократии есть создание суверена. В монархическом правлении, абсолютном или конституционном, суверен виден, осязаем, говорит, его слышно: это король, его дом, представители, помощники и советники его величества. Кто же суверен в демократии, если последняя хоть сколько нибудь заботится о своем принципе и имени? Суверен там, говорят, — *народ*. Допускаем, но что такое народ? где он? как он проявляет себя? Вот в чем вопрос. Оставим в стороне *майское поле* наших предков галлов и франков, *форум* римлян, *агору* греков, *церковь* первых христиан. Мы люди настоящего времени: эта старина нас не касается. Народ-суверен, или, выражаясь менее сжатым, менее педантическим и более техническим языком, народный суверенитет проявляется в наше время посредством избирательной операции, посредством того, что мы ныне называем

всеобщей подачей голосов.

Избирательная система, подобно правительственной, вынесла у нас те же испытания и прошла то же поприще. Подобно картине конституций, изображение избирательных систем поочередно представляет то историческую преемственность, то теоретический или умозрительный вывод.

Как конституции между собою, по выражению политической и унитарной мысли, подверженной одним и тем же упрекам и недостаткам, так точно и различные избирательные системы представляются почти одинаковыми по существу, потому что они также суть неверные и ограниченные выражения синтетической идеи, которой формула еще не найдена. Постараемся в кратком очерке представить историческую сторону этого нового рода явлений.

Историческая картина избирательных систем, предложенных и осуществленных во Франции с 1789 года

1789 г. — По проекту конституции, представленному национальному собранию 27 июля и 31 августа 1789 г., условия для пользования избирательным правом положены были следующие:

Быть природным французом; иметь не менее 25 лет от роду и жительство в общине не менее года, платить налог, равный ценности трех рабочих дней. Выборы представителей в законодательный корпус производились в *две степени*. Для этого Францию должно было разделить на отделы в 50,000 душ каждый; отдел должен был назначать 250 депутатов, которые выбирали из себя одного *представителя*, что на всю Францию должно было дать около 500 представителей. Законодательный корпус составлялся из двух палат, палаты сенаторов, назначаемых королем, и палаты представителей, выбранных всеми гражданами указанным выше способом. Эта последняя палата должна была обновляться через каждые три года.

Таков был процесс проявления народного суверенитета, предложенный законодателями 89 года. Кажется, невозможно было выказать более заботливости, при монархическом правлении, и на первый раз, о свободе и правах народа. Возраст 25 летний не может назваться чрезмерным: он требуется законом для вступления в брак против воли родителей. Налог в ценность трех рабочих дней вовсе не был тягостным: в нем скорее можно было видеть символ, чем условие; он поддерживал достоинство избирателя и обеспечивал нравственное отправление обязанности.

Конституция, принятая учредительным собранием менее роялистическая, чем первоначальный проект, оказывается также очень требовательною относительно

граждан за дарование им права подачи голосов. Кажется, прерогатива власти не может уменьшиться иначе, как с пропорциональным уменьшением прерогативы гражданина.

1791 г. — Удержаны выборы в две степени, равно как 25-летний возраст, год местожительства и налог в три рабочих дня. Но кроме того требуется, чтобы гражданин принес *гражданскую присягу*; чтобы он был вписан в список *национальной гвардии*, и чтобы не был *слугою*. Гражданин, удовлетворяющий всем этим условиям, есть *активный гражданин*. Так как сенат или высшая палата не принята, то число *депутатов* единственного собрания увеличилось; оно определено в 745 по трем данным: *территории, населению и прямому налогу или собственности*. Собрание должно быть обновляемо через каждые два года.

Я нисколько не намерен порицать эти различные условия, равно как и предшествовавшие им. Достаточно только заметить, что направление конституции 91 года есть несомненно буржуазное: еще шаг, и мы увидим, что из всеобщей подачи голосов будут исключены рабочие, живущие заработной платой, одним словом, все престолярное.

1793 г. — Проект *жирондистской* конституции: Законодательный корпус составляется из одного собрания, обновляемого *ежегодно*. Выборы имеют лишь одно основание — *население*. Подача голосов — *всеобщая и прямая*; но назначение представителей производится теми же избирателями *двумя баллотировками*, одною — *представителей*, а другою — *избирателей*. Налог в три рабочих дня уничтожен; прислуга, подобно остальному народу, пользуется избирательным правом; возраст по-прежнему требуется 25-летний. Кроме депутатов в законодательный корпус, граждане призваны к выборам, в своих первоначальных (*primaires*) собраниях, всей *магистратуры, администраторов и должностных лиц* республики, в том числе и самого *исполнительного совета*.

1793 г. — *Якобинская* конституция: трудно было явиться радикальнее Жиронды, высказавшейся под пером Кондорсе. Робеспьер попытался однако превзойти своих соперников: этого требовала монтаньярская честь. Проект Кондорсе, с целью дать избирателям время на размышление и возможность действовать с большею сознательностью, установил формальность не двух степеней избрания, а двух баллотировок. Робеспьер желает, чтобы избрание было непосредственно, совершалось сразу: в этом, может быть, и есть экономия во времени, но нет гарантии безошибочности. Кондорсе оставил определение гражданского возраста по-прежнему в 25 лет; Робеспьер убавил его до 21 года: апелляция к юности против зрелого возраста. Кондорсе предоставил каждому первичному собранию право представлять *замечания* о вотированных законах и требовать безотлагательного их *пересмотра*. Робеспьер ставит утверждение закона в зависимость от *принятия* его народом. Но это принятие чисто немое, а потому неумеющее никакого смысла и значения. Он говорит: «Если через 40 дней после вотирования закона в половине департаментов, с присовокуплением одного, десятая часть правильно образованных

первичных собраний каждого из них не заявит *протеста*, то проект принимается и становится законом.» Это торжественное применение правила: *Кто молчит, тот согласен*. Точно также и относительно избрания исполнительного совета, магистратуры и должностных лиц Робеспьер должен быть поставлен ниже Кондорсе, так как он желал, чтобы избрание это производилось не прямо первичными собраниями, а в две и даже в три степени. Из этого видно, что диктатура третирует самодержавный народ не лучше автократии: только что указанный нами закон среди умеренных (1789–1791) стремлений, встречается и между крайними (1793, 17 Февраля и 24 июня).

1795 г. — Диктатура конвента кончилась; но благодаря ей поднимается уровень правительственных идей и власть делается устойчивее. Самодержавный народ теряет много в публичном значении. Всеобщая подача голосов в две степени; восстановление ценза, который не распространяется лишь на граждан, служивших в армиях республики. Множество причин исключения из избирательного права.

Палаты, впрочем, назначаются обе народом. Выборы в исполнительную директорию предоставлены законодательному корпусу; право назначения некоторых агентов власти отнято у избирателей и присвоено директории.

Новое подтверждение вышеупомянутого закона. В демократии, как и в монархии, значение прав граждан пропорционально умеренности правительства. Исключение из этого правила представляет лишь автократия, которая естественно служит полным отрицанием противоположного ей принципа.

1799 г. — Консульская конституция: Бонапарт знал народ; он понимал, как следует обращаться с толпой. *Их следует бить, как собак*, говаривал он. Вот что он сделал из всеобщей подачи голосов — это одна из самых интересных глав нашего государственного права:

«Ст. 7. — Граждане каждого общинного округа (*arrondissement communal*) избирают тех из среды своей, кого они считают наиболее способными вести общественные дела. Таким образом составляется *список доверия* (*liste de confiance*), содержащий в себе имена десятой части всего количества граждан. В этот первый общинный список должны быть включены должностные лица округа.

Ст. 8. — Граждане, внесенные в общинные списки департамента, точно также выбирают из себя десятую часть. Этим путем составляется второй список, называемый департаментским, в который должны быть включены должностные лица департамента.

Ст. 9. — Равным образом и граждане, внесенные в департаментский список, выбирают из себя десятую часть, за тем составляется третий список, заключающий в себе граждан того департамента, имеющих право быть избранными на национальные

государственные должности.

Ст. 19 и 20. — Департаментские списки посылаются в сенат, который выбирает из них законодателей, трибунов, консулов, кассационных судей и комиссаров казначейства (*commissaires à la comptabilité*).»

Законодательный корпус обновляется ежегодно на пятую часть. — Вотирование законов подчинено тому же мытарству, как и выборы. Закон *предлагается* правительством, *обсуждается* трибуналом, в законодательном корпусе, *голосует* последним тайной баллотировкой и без обсуждения и *пропускается* сенатом, который может остановить обнародование закона, но лишь по причине его неконституционности. Здесь выражается принцип разделения властей в приложении к изготовлению законов.

Итак, с одной стороны четыре степени выборов, с другой четыре степени законодательства. Если народ самовольствует, если законодатели сбиваются с пути, то не конституция в этом будет виновата? А кто выбирает сенат? Сам сенат, а впоследствии император; это уже составляет пятую часть выборов. Кто выбирает из департаментских и окружных списков граждан, *наиболее способных заправлять общественными делами*? Опять-таки император, который один существует самостоятельно, и который, сделавшись главой наследственной династии и помазавшись на царство через папу, один не подлежит выбору и не избирается, но есть Богом данный человек, естественное воплощение народа.

Упомянув об императоре по поводу конституции 1799 г., я несколько забежал вперед. Сенатус-консульты 1802 и 1804 гг. только лишь развили и разукрасили эту систему, как в этом можно убедиться из конституции 1804 г. (см. предшествующую главу); в 1807 г. был уничтожен трибунал. Вот каким образом по императорским конституциям призывался народ к проявлению своего суверенитета, к изданию законов и к отправлению всех властей через своих избранников.

1814. — Известна система хартии: две палаты, одна неподвижная и наследственная, другая выборная и обновляемая ежегодно на одну пятую часть. Чтобы быть избирателем, надо иметь 30-летний возраст и платить по крайней мере 300 франков прямого налога; чтобы иметь право быть выбранным, надо иметь 40-летний возраст и платить 1000 франков. Законодательная власть отправляется коллективно палатой перов и палатой депутатов.

Я здесь сделаю лишь одно замечание. В 1814 г. Франция от крайностей демократии и автократии переходит к «золотой середине» парламентарной монархии, поэтому и избирательная система, бывшая пустым механизмом при империи и основой государства и источником всякой власти при республике, нисходит теперь до простой роли противовеса. Цензитарная буржуазия стремится уравновесить корону, окруженную верхнею палатою, духовенством и всеми знаменитостями власти и

бюджета.

1815 г. — *Добавочный акт к императорским конституциям* : — Подражание хартии Людовика XVIII, за исключением следующих пунктов: 1) депутаты выбираются всеобщей подачей голосов, но в две степени; сверх того учреждаются особые представители собственности и промышленности; 2) император не обязан брать министров из большинства палат; он проводит свою политику посредством государственных министров без портфеля. Этим он оставляет себе лазейку обойти парламентскую систему.

1830 г. — *Пересмотр хартии*: Палаты разделяют с короной инициативу законов. Ценз избирания и избираемости понижен: это хотя и показывает, что противовес короны усиливается по мере приближения к демократии, однако народ еще не вводится в избирательные комиции, так как этого не может допустить «золотая середина», несмотря на свою умеренность.

1848 г. — Торжество демократии: Восстановлена всеобщая и прямая подача голосов, но лишь относительно выборов в муниципальные и генеральные советы и национальное собрание; все должностные лица, кроме лишь президента, выбираемого на 4 года народом, назначаются по-прежнему исполнительной властью. Законодательное собрание одно; президент ему подчинен; единственное основание выборов — население. Всеобщая подача голосов становится капитальной частью системы; впрочем, и здесь снова подтвердился закон, на который мы неоднократно указывали: с самоусилением правительства, народный суверенитет упадает. В доказательство можно привести закон 31 мая 1849 г., ограничивающий всеобщую подачу голосов.

1852 г. — Избирательная система, принятая конституцией Наполеона III, в сущности, сходна с системой 1848 г. и отличается от неё лишь мелкими подробностями, довольно многочисленными, и мерами предосторожности против народного увлечения. Всеобщая и прямая подача голосов, восстановлению которой переворот 2 декабря обязан своим успехом, несовместна с императорской конституцией. Об этом предмете мы выскажем свое мнение в особой главе, посвященной исследованию этой конституции.

Из сделанного нами обзора явствует, что как неограниченно число всевозможных правительств между двумя абсолютными крайними — автократией и демократией, точно также неограниченно и число систем для создания самодержавия (*souverainité*) народа, другими словами — число избирательных систем, соответствующих различным формам правительств.

Какая же — лучшая, самая либеральная, истинная и наименее ошибочная из этого множества систем, которыми стремится выразить себя самодержавие нации как

при демократическом, так и при монархическом порядке?

Я отвечу на это как ответил уже на вопрос о конституциях. Все эти системы одинаковы, все имеют свои достоинства и свои недостатки; было бы нелепо отдавать какое бы то ни было преимущество всеобщей и прямой подаче голосов, последствия которой мы знаем, перед цензитарной системой в 300 и 1000 франков, которой нахальство и нелогичность нас возмущают.

А объяснение воздержания нашего от восхваления какой-либо из этих систем так же просто, как и понятно, именно: все эти электоральные утопии ничто иное, как произвольные ограничения, искажения одного синтеза, соединяющего в себе, как и следует, все противоположные элементы и именно потому, что они противоположны; синтеза, который исключает всякий антагонизм, утверждает в одно и тоже время равновесие правительства и народное самодержавие, но приложение которого не имеет ничего общего с рутинной наших практиков. Постараюсь дать понять себя.

Нация, заставляющая *представлять* себя, должна быть представляема во всем том, что ее составляет: в своем населении, в своих группах, во всех своих способностях и условиях. Одна конституция допускает всеобщую и прямую подачу голосов, но максимумом требуемого возраста полагает 25 лет; другая спускает этот возраст до 21 года. Третья, понимая, что неравенство господствует повсюду, как в мнениях, так в богатстве и уме, что толпа только идет за вожаками и что инициатива идей принадлежит очень небольшому кружку людей; что одним словом недостаточно считать голоса, а следует еще их взвешивать, — третья, говорю я, принимая в принципе всеобщую подачу голосов, вводит ее на практике в две или более степеней. Наконец другие конституции говорят, что население не может быть единственным основанием избирательной системы, что надо еще принять во внимание агломерации, промышленность, собственность и т. п. В виду столь многочисленных исключений, допускаемых системами, срывающимися за самые широкие, популярные и либеральные, можно бы спросить: может ли либеральное право быть утрачено в каком бы то ни было положении; почему исключены из него женщины и граждане моложе 21 года; почему распространено это ужасное отлучение против осужденных по суду, банкротов, людей безнравственных, и т. п., против слуг, нищих, бродяг, и т. д.?

На эти вопросы не давалось еще солидного ответа: говорили, что неестественно вотированием восстанавливать детей и жен против отцов и мужей, что это значило бы подорвать родительскую и супружескую власть и возбудить из-за политики раздоры в семействах; говорили тоже и о слугах, что они станут врагами, шпионами и изменниками в домах своих господ, если им дать право голоса; далее, что в высшей степени странно ставить на одну линию честного человека и человека заклеянного законом; что если бы законодатель вздумал до такой степени пренебречь общественным мнением, то добился бы лишь того, что избирательные комиции опустели бы и самый институт подачи голосов был бы поражен на смерть.

Эти рассуждения имеют свою ценность, и я сам, признаюсь, во всех этих пунктах столь же неумолимо нетерпим, как и другие. Например, тот день, когда законодатель даст женщинам и детям право подачи голосов, будет днем моего развода; я выгоню от себя жену свою и детей и заживу опять пустынником. Но что ни говори, а все это не составляет еще убедительного ответа на вышеуказанные вопросы. Лица, которым не дано пользования правом подачи голосов, составляют все-таки часть нации; они имеют право быть представляемыми: можно ли допустить, чтобы они были представляемы официально теми, от кого зависят или кто по закону состоит при них попечителем или ответчиком? Когда доктор приходит к больному, то расспрашивает его самого, на сколько тому позволяет болезнь, а не обращается к третьим лицам, родным или знакомым больного. В церкви исповедь требует, чтобы грешник сам покаялся в своих прегрешениях, если хочет получить вместе с отпущением грехов и лекарство для души. А большинство граждан, исключенных из избирательных списков, — социальные и политические больные: как они станут на ноги, как добьются должной им справедливости, если им нельзя говорить самим за себя, если им запрещено принимать участие в национальном представительстве, в проявлении народного самодержавия?

Итак, не станем пятиться перед логикой, когда она служит истолкователем права и свободы. Электоральный синтез должен обнимать собою, не только в теории, но и на практике, все выработанные уже системы: основанием избирательства принимать не только население, но и территорию, собственность, капиталы, промышленность, естественные, областные и общинные группы. Он не должен упускать из виду неравенств богатства и ума и исключать какую бы то ни было категорию. Возможно ли, спросите вы, сделать это, не нарушая гражданского равенства (*égalité civique*) и не возбуждая бесчисленных протестов? Возможно ли сделать это, если большинство таких элементов *друг друга* исключают?.. На это я скажу, что если великий акт, имеющий целью национальное представительство, состоит лишь в том, чтобы каждые 5 лет или каждые 3 года собирать толпу заранее указанных граждан и заставлять их назначать депутата, снабжённого неограниченным полномочием, депутата, который, в силу такого полномочия, представляет собою не только тех, кто подавал голоса за него, но и тех, кто вотировал против него, представляет не только электоральную массу, но и все категории личностей невоотиновавших, все силы, способности, функции и интересы общественного тела; что если эту именно операцию считают всеобщей подачей голосов, то от неё действительно нечего ожидать путного, а с нею и вся наша политическая система ничто иное, как мистификация и тирания.

Сделаем заключение. Искреннее и правдивое представительство в стране, подобной нашей, предполагает совокупность учреждений, скомбинированных таким образом, чтобы всякий интерес, всякая идея, всякий социальный и политический элемент мог проявиться в этом представительстве, мог сам выразиться, мог заставить себя представить, добиться справедливости и гарантии, иметь свою долю влияния и самодержавия. Потому что народное представительство, там, где оно существует как условие политической жизни, не должно быть только машиной, как в консти-

туции 1804 г. или машиной и противовесом, как в хартии от 1814 до 1830 г.; или фундаментом правительственного здания, как в конституциях 1793, 1848 и 1852 гг.: оно в одно и то же время, под страхом в противном случае сделаться ложью, должно быть фундаментом, машиной, противовесом и сверх того функцией, функцией, обнимающей всю нацию, во всех её категориях личностей, территорий, богатств, свойств, способностей и даже нищеты.

Я почел необходимым вдаваться в некоторые подробности относительно создания суверенитета, или говоря общепринятым языком, относительно всеобщей избирательной системы или подачи голосов, отчасти ради важности этого вопроса, а отчасти в виду ложности господствующих о нем идей. Теперь мы можем перейти к обсуждению конституции 93 года.

Глава IX. Продолжение того же предмета: критика конституции 93 года

Существенное противоречие принципов самодержавия народа и его представительства. — Всеобщая подача голосов есть национальное самоотречение от своих прав. — Почему демократическая система — самая неустойчивая из всех. — Толпа не заинтересована в правлении. — Гипотеза народного *содержания* (*liste civile*).

Насмотревшись на то, каким несчастным опытам в деле правительств, династий, законодательства, представительства, выборов, подвергали нас наши государственные мужи, так называемые *практики*, читатель, вероятно, поуменшит свое презрение к новаторам, окрещенным в наши дни названиями *социалистов*, *коммунистов*, *анархистов*, главная вина которых состоит в том, что они видели вещи лучше других и осмелились обнаруживать ошибки *практиков*. Правда, что предложенные этими новаторами реформы не удостоились одобрения со стороны общественного мнения; можно, пожалуй, сознаться, без всякого стыда, что реформы эти под-час не отличались характером полной осуществимости. Что ж из этого? Наука трудно строится, истина не легко дается в политике и политической экономии, как и в химии, геологии и естественной истории. Но смеют ли попрекать нас нашими утопиями эмпирики, пустозвоны, шарлатаны с их 15 или 16 конституциями, из которых ни одна не могла выдержать практического приложения, подобно тому как не выдерживает теоретического исследования; с их 15 или 16 электоральными теориями, из которых ни одна не могла удовлетворить самих их авторов? Мы попали в руки ужасных живодеров, которые обращаются с человечеством, как с собаками и лошадьми, убиваемыми ради науки целыми дюжинами в наших анатомических залах. В руках этих шарлатанов политика сделалась настоящей вивисекцией.

Конституция 1793 г. желала дать народу, в деле выборов и представительства, самые широкие, самые могучие гарантии. Что же для этого сделал законодатель 1793 г.? Он сказал себе:

Совершенно невозможно в физическом, экономическом, интеллектуальном и моральном отношениях, чтобы собрание людей, столь многочисленное, как французский народ, одновременно и само — с одной стороны, отправляло законодательную, исполнительную и судебную власть, а с другой вело промышленные и земледельческие занятия; чтобы оно управляло, рассуждало, ходатайствовало в судах, судило, исполняло, надзидало, контролировало, наказывало, сражалось, и в тоже время, чтобы занималось производительными работами и меновыми

операциями: и мы скажем, что это невозможно, хотя и желательно ради строгого принципа и демократической тенденции. Поэтому для народа является неизбежная необходимость во многих делах, даже самых важных, действовать через других, выбирать себе доверенных. Короче сказать, народ, по необходимости, должен быть представляем: представляем для издания закона, представляем для его исполнения, представляем для его истолкования, представляем для его приложения, представляем для его пересмотра; представляем в правительстве, администрации, суде; представляем в надзоре; представляем в раздаче должностей; представляем в определении расходов; представляем в обсуждении бюджета; представляем для объявления войны; представляем для заключения мира, коммерческих и союзных договоров. Только в трех вещах народ действует сам собою, лично и без представителей: в труде, налоге и военной службе. Поэтому, заключил законодатель, мы дадим народу в самых широких размерах электоральное самодержавие. Он изберет своих представителей как в исполнительную, так и в законодательную власть; это еще самое меньшее. Его права будут ясно и твердо установлены. После *провозглашения прав* и торжественного, грозного признания *самодержавия народа*, в конституции будет глава о *первичных собраниях*, другая о *законодательном корпусе*, третья об *исполнительной власти* и т. д. Так как мы должны столь же дорожить временем народа, сколько заботиться о его самодержавии, то мы предоставим постоянным избирательным собраниям, выбранным первичными собраниями, назначение исполнительных чиновников, судей и т. д., это справедливое исключение освободит народ от трудного бремени прямого самодержавия (благодаря таким исключениям исполнительная власть под конец забрала в свои руки назначение *всех* должностных лиц). Наконец для обеспечения единства народного правительства и нераздельности его верховной власти, будет устроена иерархия или субординация между различными административными центрами:

Администрация муниципальная,

Администрация дистрикта;

Администрация округа.

Все эти администрации будут поставлены под высший надзор законодательного корпуса, который определит предметы ведомства должностных лиц и правила их подчинения. А для обеспечения этого подчинения, а равно послушания различных центров приказаниям высшей власти, конституция III года, очень близкая к конституции II года, учредит *комиссаров* по назначению *исполнительной дирекции*, каковые комиссары превратятся одним взмахом пера, по закону 28 плювиоза VIII года (17 Февраля 1800 г.), в *префектов*, которых мы, французы, имеем счастье иметь и до сих пор.

Но, превосходнейший законодатель, есть кое-что, о чем вы и не подумали и что опрокидывает всю вашу систему: это то, что, когда все власти будут назначены, все общественные должности распределены; когда народ будет представляем

наверху, в середине, в основании; когда окружности должны будут повиноваться центру, то суверен делается нулем. В автократии государь может удобно отделять власти, разделять функции своего правительства и вверить их выбранным от себя слугам; потому что он все-же остается для всех их господином и при малейшем неудовольствии может отозвать их и уничтожить. Зависит это, заметьте, от того, что государь здесь — человек, которого не стушевывает никакое представительство. Но в демократии, где суверен есть коллективность, — нечто метафизическое, существующее посредством представительства, которого представители подчинены одни другим, а все вместе зависят от высшего представительства, называемого *национальным собранием* или *законодательным корпусом*, — народ, рассматриваемый как суверен, есть фикция, миф, и все церемонии, посредством которых вы заставляете его проявлять его избирательное самодержавие, ничто иное, как церемонии его отречения.

Долго ли этот простодушный суверен, такой же чурбан, как птица, посланная Юпитером царствовать над лягушками, будет служить подножкой для болтунов, которые его дурачат? Ему говорят: вотируйте все и прямо, и он вотирует. Вотируйте в две, три, четыре степени, — и он вотирует. Вотируйте некоторые, только *активные* граждане, — и он вотирует. Вотируйте, собственники с 300 фр. прямых налогов, и он вотирует. Вотируйте в пользу правительства, и он вотирует; вотируйте за оппозицию, и он вотирует. Вотируйте общинами, вотируйте департаментами, вотируйте тайной баллотировкой, — и он вотирует. Вотируйте произвольными избирательными округами, не зная друг друга, в потемках, — и он вотирует. Bravo, молодцы; вы отлично знаете свое дело и вотируете чудесно. На право, на лево; назначайте ваших муниципальных советников: правительство назначит мэров, их помощников, полицейских комиссаров, мировых судей, жандармов, префектов и подпрефектов, всех должностных лиц и сановников республики. И они повинуются. Великолепно. Марш вперед! Назначайте императора, и они кричат: *Да здравствует император!*.. Вот так народец!

Несмотря на все это, конституции 1793 г., II года и 1848 г. не могут считаться нелепее конституций 1830, 1844 и 1799 гг.; они, как я уже сказал и снова повторяю, противоречат самим себе; но они заключают в себе все элементы других и не представляются, в сущности, более нерациональными, чем остальные. Поэтому их уже слишком оклеветали. Те, которые ни во что не ставят напр., конституцию III года, осмелятся ли утверждать, что конституция VIII года, порождение 18 брюмера, была либеральнее, логичнее и вернее праву и принципам? *Кто хочет убить свою собаку, обвиняет ее в бешенстве*, пословица эта особенно справедлива относительно различных наших республиканских попыток. Дону, Сийесы и множество других с презрением отзывались, что конституция 1793 г. непрактична: но они забыли вывести причины этого явления. А конституция Сийеса разве практичнее? — Бонапарт крошит все конституции, берет направо и налево, из Робеспьера, Сийеса, Мирабо и т. д., нисколько не заботясь о логике и общественном мнении, и выкраивает свою конституцию VIII года, которая потом превращается в конституцию X года, конституцию XII года и живет 14 лет. Почему бы и конституции 93 г. не иметь

подобного успеха?

Правда: республика у нас недолговечна; и я укажу на причину этого явления, чтобы раз навсегда заткнуть рот как сторонникам абсолютной власти, так и сторонникам модернизма. Сгубили республику в 1799 и 1851 гг. не пороки её конституции: эти пороки по существу своему не помешали бы ей просуществовать хотя бы один человеческий век: гибель её произошла просто потому, что низшие классы, ради которых в особенности была провозглашена республика и верховная власть которых была освящена конституцией, очутились, по небрежности или измене законодателя, в таком положении, что не имели никакого положительного интереса в сохранении нового порядка вещей.

Честная буржуазия, питающая такой ужас к демократическому порядку, во-первых потому, что он кажется ей организованным против неё; далее, потому, что он будто бы страдает еще другим не менее важным недостатком, именно не представляет, по её мнению, никакой гарантии устойчивости, эта буржуазия по-видимому никогда не обращала внимания на ту простую вещь, что в конце концов человечество не может долго оставаться добродетельным наперекор своим собственным интересам. Хотите, чтобы граждане были всегда усердны и верны? Сделайте так, чтобы им от этого предстояло более пользы, чем вреда. Но об этом никогда не заботились наши основатели демократии. В то время как при монархической конституции король, его дом и аристократия (когда она есть, а редко бывает, чтобы её не было, потому что она постоянно видоизменяется), все имеют известные материальные выгоды, вполне гарантированные, выгоды, которые у них народ не оспаривает; при демократической конституции, при которой высшие классы всегда сумеют соблюсти свои интересы, только один народ ничего не имеет; законодатель ему ничего не назначает, ничего не оставляет, ничего не гарантирует; народ остается совсем не заинтересованным, как будто дело до него нисколько не касается. Так что самодержавный народ, посредством периодической всеобщей подачи голосов каждые 3 года или каждые 5 лет возобновляющий отречение от своих прав, как-бы в придачу к этому, наказывается еще лишением каких бы то ни было преимуществ. Он настоящий царь без владений, Иоанн Безземельный или Готье Неимуций: из всего царского великолепия и величия сохраняющий лишь титул, пустой звук: самодержавие. Это нелепо, обидно, смешно, но это так.

При монархическом устройстве государь и его семейство имеют свое содержание (*liste civile*), свои уделы, замки, домены, кроме того, от времени до времени кой-какие барыши; сенаторы, великие сановники имеют свои оклады и пенсии; буржуазия — привилегию на места всякого рода: она не брезгает никаким жалованьем, потому что от маленького можно перейти к большому. Что же демократические конституции сделали для народа? Обеспечили ли для него какую-нибудь милостыню, какую-нибудь крупицу со стола общественного богатства? В 1848 г. рабочие просили права на труд: отказано. Они смотрят теперь как на благодеяние на разрешение им делать складчины для ухода за своими больными и для призрения своих стариков. Один декрет люксембургской комиссии сделал из Тюильри Отель *инвалидов народа*

: не прошло двух недель после торжества революции, как приказ Коссидьера уже выгоняет вон поселившихся в отеле. Ради республики народ терпел нищету три месяца; но после июньских дней терпение его лопнуло, и он стал кричать: *да здравствует Наполеон!* Что ему было пользы от такой демократии?

Скажут, что республика была бедна, обременена долгами, казна опустела, капиталы скрылись, биржа и собственность были парализованы. Притом же, спросят, как помочь такой нищете, как насытить такие неутолимые аппетиты? Что такое династия, аристократия, составляющая одну тысячную часть нации, в сравнении с миллионами голодных людей? Не будем же ставить в преступление демократии бессилие, присущее самому человечеству. Самодержавный народ заботится о том, чтобы государь, его избранник, и его представители жили в роскоши: он этим тщеславится и утешается в своей бедности. Он не требует для себя возможности жить Крезом или сибаритом, он знает, что это невозможно и даже безнравственно.

Я рассмотрел бюджет 1863 года и отделил все издержки, производимые в различных министерствах под названием вспоможений, подписок, поощрений, наград, секретных расходов, пособий, вознаграждений, миссий, разъездных, *solde de nonactivité*, ремонтной и постройки церквей, дворцов, и т. д.; к этому я прибавил содержание династии (*liste civile*), оклады, пенсии, в том числе и гражданские, составляемые посредством вычета из жалованья чиновников; кроме того урезки, которые можно сделать из содержаний, превышающих *maximum*, дозволяемый демократической щедростью; наконец все суммы, расходуемые с целью благотворительной, роскошной, почетной, праздничной, либеральной, полицейской, произвольной; и я нашел, что итог этих сумм составит до 250.000.000.

Народное производство по вычислениям современных экономистов, сторонников империи, простирается до 12 ½; миллиардов франков, следовательно 250.000.000 составляют ровно 2 % этого производства.

Я не стану, разумеется, утверждать, чтобы в указанной мною категории издержек все было излишне; даже в том отделе, который считается постыдным, именно в отделе *секретных расходов*, могут быть, надо сознаться, законные назначения. Поэтому я хочу говорить не об уничтожении этих расходов, а о замене их другими. Мы говорим о демократии, об условиях её правительства, о необходимости заинтересовать в нем простой народ, так точно, как высшие классы, король и его дом, сенаторы и министры, и все агенты королевской власти, заинтересованы в монархическом правительстве. Но так как самодержавный народ самую природою вещей осужден не иначе проявлять свою власть как посредством избранных им поверенных, царствовать и не управлять, точь в точь как конституционный король в смысле конституций 1814 и 1830 гг., то спрашивается — не заключается ли истинного средства заинтересовать этот народ тою системою, которая сделает его действительно сувереном, именно тем, чтобы присвоить ему все издержки, которые, при монархии и империи, значатся в бюджете под теми различными наименованиями, которые я

перечислил.

Разумеется, я рассуждаю так исключительно в виду гипотезы, что нация пожелает вернуться к системе 1793 и 1848 гг., системе, которую я не разделяю и которую иначе, как под этим условием, не понимаю.

Итак, я утверждаю, что упомянутые мною 250.000.000 по природе своей монархического или государственного свойства, потому что они целиком тратятся на личность монарха, его династию, его двор, его высших сановников, его креатур, на солдат, которых он старается приохотить к служению своему делу, на толпу осаждающих его всякого рода просителей, на роскошь его короны, на агентов, заботящихся о безопасности его личности и т. д., поэтому такие расходы, в случае если бы демократия наследовала империи, могут быть вполне перенесены на народ, разумеется, с изменениями, требуемыми новою системою.

Напр. ясно, что так как военная служба, в случае если армия будет оставлена, обязательна для всех, то 38 или 40 миллионов пенсий по военному ведомству, за исключением пенсий за тяжкие раны, сделаются излишними, и поэтому могут быть отнесены на какую-нибудь другую статью бюджета. Очевидно также, что так как в демократии срок действительной службы для лиц всяких профессий оканчивается с самой жизнью, за исключением доказанных случаев болезни, бессилия или дряхлости, поэтому вычеты из жалованья служащих, употреблявшиеся до сих пор на пенсии, могут тоже составить значительную экономию, которую можно употребить в интересе самодержавного народа. Соображения эти, представляющие очень интересный материал для критики, я оставляю, однако, в стороне, так как они не относятся собственно к моему предмету.

Итак, взяв 250 миллионов, извлеченных из нынешнего бюджета, иди 2 % всего производства страны, я нахожу, что нет ничего легче, как с этой суммой составить нечто в роде *содержания* (*liste civile*) народа, содержания, которым пользовались бы более 500.000 избирателей. Вот как я полагал бы сделать распределение этого содержания.

Во 1-х: Условия необходимые для допущения к пользованию *содержанием народа*.

Родиться французом; иметь не менее 36 лет; быть супругом и отцом семейства; иметь свидетельство в хорошей жизни и доброй нравственности; получить достаточное образование, смотря по профессии; заниматься 15 лет действительною работою в различных категориях труда, земледелии, промышленности, мореплавании, общественных должностях и т. д., или же, за неимением этого, произвести какое либо образцовое произведение, сделать открытие, прославиться каким либо добрым делом; быть внесенным в списки национальной гвардии и отправлять в ней службу; обладать доходом не свыше 1250 фр., составляющих приблизительно цифру

среднего дохода во Франции на семейство в четыре лица.

Имеющие право (*titulaires*) выбираются всеобщей подачей голосов во всех департаментах и пропорционально населению. Они вносятся по мере открытия вакансий в заранее составленные списки *получающих* (*honoraire*), выбираемых также всеобщей подачей голосов в числе одинаковом числу имеющих право.

Во 2-х: *Цифры распределения*. — Смотря по старшинству и заслугам следует установить три класса лиц, получающих содержание: 1-ый класс составляют все вписанные в оклад 400 фр., 2-й — вписанные в оклад 500 фр. и 3-ий — вписанные в оклад 600 фр.

250.000 получ. оклады по 400 фр. — 100 миллионов.

150.000 по 500» — 75»

100.000... по 600» — 60»

12.000 составляющих главный штаб и получающих оклад... от 800 до 1000 фр. 12»

Расходы по управлению 3»

250 миллионов.

512.000 имеющих право

512.000 получающих

1.024.000

Так как оклад члена, участвующего в *liste civile* народа, определяется не с целью роскоши или праздности, но единственно с целью поощрения к труду, для наименее богатых классов, то чрезвычайно важно, чтобы такие оклады, доставляя работнику значительное улучшение в средствах к жизни, оставались все-таки в пределах строгой умеренности. Важно также, чтобы имеющий право не считал себя сразу достигшим крайнего предела своей цели, так как в противном случае он, спасшись от бедности, впадет в апатию.

И вот 250 миллионами монархического бюджета мы дадим средства демократии, ободрим ее, возвысим её достоинство и в тоже время образуем на защиту республики армию с лишком в миллион человек. Неужели вы думаете, что с таким оплотом конституция III года могла бы бояться роялистов и *шуанов*, военных, *адвокатов*, *сгнивших* (*pourris*) и всех тех, кто принимал участие в брюмерском перевороте? Неужели вы думаете, что при таких условиях в 1851 г. национальное

представительство было бы попорно, а конституция уничтожена?..

Но, возразят мне, ваше *содержание* народа ничто иное, как эксплуатация имущих классов неимущими. Вы создаете плебейский интерес: где же буржуазный? Неужели вы полагаете, что буржуазия будет сносить без ропота это огромное содержание в 250 миллионов? Ваши получатели и их семейства составляют не более 1/10 нации: в случае восстания одержат ли они верх над остальными 9/10, отныне не заинтересованными? Вспомните об июне 1848 г.!

Мой ответ готов и смею надеяться, что читатель найдет его неотразимым.

Устойчивость государства и правительства есть благо, которое буржуазия ценит более, чем народ, есть величайшее из всех благ. Это благо не может быть получено даром, что до настоящего времени доказывал вам опыт — именно наши 15 конституций. В настоящую же минуту эта, столь непрочная, устойчивость разве не стоит нам 250 миллионов, говоря уже только об одной категории расходов, которую я назову расходами на *королей*? Что же я делаю, как не даю лишь иное употребление этим миллионам? Свобода, безопасность, устойчивость, собственность, гарантированные ценою 250 миллионов, 2 % национального производства, в пользу работников самых бедных, самых честных, самых умных, из которых каждый, в день назначения ему оклада, считает за собою по крайней мере 15 лет действительного труда: кто осмелится найти, что это дорого?

Кроме того, буржуазия сохраняет за собою пользование своими имуществами и доходами, местами, преимуществами, званиями и почестями. Она первая извлечет выгоду из экономий, которые ей, умеющей управлять и считать, всего легче произвести в бюджете. В этом отношении она может быть уверена, что не встретит никакого династического сопротивления. С демократией, заинтересованной в поддержке республики и правительства, доставляющей на их защиту миллион вооруженных людей, нет нужды в полиции; бунтов не будет. Хотите обезопасить себя от народного восстания? Возьмите в охранители спокойствия самый народ. Кроме того, мы получим уменьшение жандармерии, неограниченную свободу сходок, ассоциаций. Известно ли, чего стоят стеснения всего этого?.. — Рабочая демократия будет всегда менее воинственна и менее падка на приключения, чем автократия. Можно будет сразу уменьшить на 250 миллионов военный и морской бюджет, убавив только на половину постоянную армию; а если мы вовсе ее уничтожим, то — на 500 миллионов. Демократия, управляемая экономной, недоверчивой буржуазией, не боящейся более ни революций снизу, ни борьбы с инициативой короны, найдет скоро средства погасить свой долг, не прибегая к банкротству: еще 500 миллионов долой из бюджета. С меня довольно и этих замечаний. На что же, после этого, жаловаться буржуазии, ставшей республиканскою? Хотите ли серьезно вступить на путь реформ, на путь дешевизны? Для этого надо суметь предложить цену. Сначала это может показаться противоречием, но после того, что я сказал, буржуазия поймет

меня.

Почему, спросят меня, не предложили вы своего прекрасного проекта в 1848 г.? — Хорошо! если вам надо это знать, то потому, что мы, мои друзья и я, — настоящие республиканцы, республиканцы строгие и с искренними убеждениями; потому что мы носим в себе социальное состояние, в котором устойчивость правительства не будет стоить ничего или почти ничего, точно так же, как циркуляция, кредит, мена и страхование; в котором трудящийся люд будет заинтересован в общественном деле единственно своим трудом; потому, что мы не хотим никакого «содержания» (*liste civile*), даже содержания народа; потому что, повинувшись конституции 1848 г., мы не принимали её унитарной и нераздельной формы; наконец потому, что мы, исключительно занятые утверждением и защитой принципа взаимности (*mutualité*), который ничто иное, как принцип федерации, против заблуждений коммунизма и правительственности (*gouvernementalisme*), и оклеветанные в наших намерениях, наших идеях, нашей политике, должны были особенно остерегаться поднимать подобными предложениями, вместе с народной алчностью, ярость буржуазии и негодование честных людей.

В своем исследовании конституций я хотел доказать цифрами, что конституция 93 года — я нарочно выбрал наиболее известную с дурной стороны — столь же применима на практике, как и всякая другая: для этого достаточно бы было суметь заинтересовать в ней трудящийся и бедный люд, присвоив ему содержание и все расходы, употребляемые на монархию. — Но вероятно ли, чтоб рабочие приняли этот подарок в 1848 или в 1793 г. Они выказали бы скорее свое великодушие. Народ любит, чтобы его представители представляли его доблестно; его регалии заключаются почти в одних идеях. Он любит царские щедроты; но добровольно он, может быть, не примет от республики ни удела, ни вспоможения, ни подарка, ни прибавок к заработку. У него тоже есть своя щекотливость, своя гордость. Что бы ни случилось, времена 1793 и 1848 годов прошли, они не вернуться и поэтому-то я могу позволить себе всю эту критику. Но, слепые и неисправимые консерваторы! помните все-таки библейский стих: *Не искушай Господа Бога твоего.*

Глава X. Критика конституционной хартии, 1814–1830

Смирнская матрона, парламентская нравоучительная басня. — Сомнительная золотая середина, педантская доктрина, лицемерная умеренность, скрытная порча, интриганская строгость, Иезуитские нравы, нечистая политика, полнейшее бессилие.

Так как, благодаря монополии печати, адвокатскому честолюбию, эластичности совести наших так называемых демократов, побрякам императорского правительства, благодаря наконец нашему галльскому ротозейству, мы снова готовы вернуться к пресловутым июльским учреждениям, то, пока еще не ушло время, поспешим выказать все их дурные стороны. Потому что позже наше очень неуважительное о них мнение будет непременно вменено нам в преступление.

Из всех партизанов июльской системы самый искренний, а в настоящее время самый знаменитый есть без сомнения, г. Тьер. Признаться, я немножко подозреваю, что он так сильно стоит за эту систему потому, что он автор пресловутой формулы: *Король царствует, но не управляет*. Но небольшое тщеславие не портит все-таки политических убеждений, а убеждения г. Тьера целостны, что возбуждает, по нашему мнению, полное к ним уважение. Г. Тьер человек, наиболее сделавший для июльской монархии, наилучше ее знавший и проводивший в действительности и в настоящее время наилучше ее защищающий. Хорошо же! Проникал ли вполне ясно сам г. Тьер в таинства этого правительства, до такой степени излюбленного его сердцем и приносившего к его гению? Чувствовал ли он его существенную безнравственность? Неужели он не заметил, что это правительство ничто иное как утопия, в тысячу раз извращенное, а следовательно, и опаснее утопий 1793 и 1804 годов? Прошу извинения у неистощимого историка *Консульства и Империи* за то, что я таким образом возбуждаю сомнение в солидности его суждения. В своей истории Наполеона г. Тьер говорит, что к *Добавочному акту* были несправедливы; что эта 4-я императорская конституция без сомнения гораздо выше хартии 1814 года; что императорское произведение, в его целом, гораздо либеральнее творения Людовика XVIII. И г. Тьер даже не заметил 18 ст., создающей министров без портфеля, обязанных защищать перед палатами действия правительства; он не заметил этого опасного изобретения, придуманного для уничтожения, в пользу императорской прерогативы, всех последствий парламентаризма, изобретения, которое вместе с электоральной системой, заимствованной из конституции VIII года, составляет всю оригинальность *Дополнительного акта*, и которое г. Тьер опровергает изо всех сил в

конституции 1852 года, как идею, самую антипатическую для своих чувств и для своих самых дорогих убеждений. Поэтому я имею право предположить, что г. Тьер, при ветренности и приткности своего ума, в чем его так упрекали, не исследовал строго критически хартию 1830 года и в этом отношении остался далеко позади общественного мнения, которое, задолго до 1848 года, руководствуясь не философией, а единственно здравым смыслом, осудило эту систему. Кто же в конце концов прав: общественное мнение, составившееся еще до 1848 года, или г. Тьер, употребляющий ныне все свои усилия для разубеждения этого мнения.

Сначала я думал было сделать формальное исследование этой «качалки» (*bascule*), в которую мы, по-видимому, окончательно влюбились с тех пор, как уже не пользуемся ею, и которая составляет почти весь запас нашей молодой оппозиции. Но я убедился, что изложение подробностей, какой бы талант я ни употребил на это, покажется в высшей степени скучным; что такой сюжет ниже всякого сколько-нибудь значительного философского рассуждения; что политическая система, придуманная нарочно для торжества болтливой посредственности, интриганского педантизма, продажной журналистики, пускающей в ход вымогательство и рекламу, система, в которой сделки с совестью, пошлость честолюбия, бедность идей, общие ораторские места и академическое краснобайство — верные средства успеха; в которой постоянно на первом плане противоречие и непоследовательность, отсутствие откровенности и смелости; что подобная система, говорю я, не нуждается в опровержении, ее достаточно описать. Анализировать ее значило бы возвеличить ее и, несмотря на старания критика, дать о ней ложное понятие. Притом такая конституция входит и в другие; так как мы знаем, что все они вместе составляют один цикл, то она в них составляет один из тех средних членов, которыми восхищается буржуазная премудрость и которые достаточно поочередно сравнить с крайними членами, чтобы вполне выставить их лицемерие и ничтожность. А так как это мы уже не раз делали, так как такой случай нам еще представится и так как нам знакома эта маска, то теперь удовольствуемся лишь фотографическим её снимком.

Некогда жила в Смирне, на берегу Малой Азии, вдова, молодая и красивая, хотя у ней осталось после мужа несколько детей; она была богата как приданым, данным ей её мужем, так и опекою над своими тремя сыновьями; ради её красоты и богатства за нею ухаживало много искателей. Родные её и её мужа не советовали ей выходить за муж. — «Что вам за польза, говорили они ей, вступить во второй брак? Пятилетний супружеский опыт рассеял ваши юношеские мечты. Покойный ваш муж был славный человек: ради этого ваша честь требует, чтобы вы не замещали его другим; храните свято память о нем. Он, по брачному контракту и по завещанию, оставил вам все свое огромное имущество частью на праве полной собственности, частью в распоряжение до совершеннолетия ваших детей. Такое имущество, из которого четверти вполне достаточно для удовлетворения ваших потребностей, обеспечивает вам, вместе с независимостью, богатство и, что еще важнее, послушание и уважение ваших детей. Хорошо ли будет ваше положение, если вы вновь выйдете замуж? Не меняйте будущности полной чести, достоинства и спокойствия, на союз, гадательные выгоды которого не уравновесят для вас явных неудобств. Твердая женщина сумеет отыскать

свое счастье в законе, который налагают на нее её обязанности, в заботе о своей репутации и в провидении. Бегите удовольствий для вас более несвойственных. Ваш покойник, возделывая сам свои земли, улучшил их качества и умножил свой доход. Но зато сколько это ему стоило труда и беспокойства! Он умер за работою... Будьте благоразумнее: поделите ваши поместья на несколько участков и отдельно отдайте их в аренду; предоставьте больше выгод фермерам, чтобы можно было рассчитывать на их аккуратность; берегитесь брать какого-нибудь управляющего вашими делами, равно как выходить замуж, и, как достойная мать и святая вдова, занимайтесь единственно воспитанием своих детей. Неужели вы решитесь вторым браком отнять у них большую часть вашей любви, лучшее место в вашем сердце? Берегитесь этого, потому что тогда вы лишитесь их уважения. Не может быть дружбы между детьми от первого брака и новым супругом. Давая им отчима, вы станете для них мачехою. Для вас пробил час мудрости; не тужите об этом. Оставайтесь госпожой самой себе и со свободным сердцем, безукоризненной совестью и чистым телом, ищите своего блаженства в благородной роли воспитательницы и матери-девственницы. Вам не найти другого счастья выше этого.» — Она понимала верность этих доводов; но находила не мало и отговорок. — «Женщина, говорила она, всегда нуждается в совете и опоре, этого даже требует самая забота о её репутации. Если она и выйдет снова замуж, то, разумеется, в интересе своих детей. Экономия, которую она сделает в продолжение своего опекунства, будет отдана им: между тем ежегодное сбережение очевидно будет значительнее, когда домашние расходы будут отчасти покрываться вторым супругом, который, разумеется, не женится на ней с пустыми руками. — Что же касается до покойника, то она не находила лучшего способа почтить его память иначе, как выбрав ему преемника. А приобретя мужа, она рассчитывала с помощью умного и преданного человека повести земледельческие занятия с большим успехом, чем вел их её первый муж. Тогда увидят, на что она может быть способна.» — Дело в том, что подобно всем молодым женщинам, вкусившим брака, она, не смотря на неоднократные роды, была влюблена, как никогда.

Между своими обожателями она заметила двух очень красивых мужчин, различных состояний, но стоивших один другого. Один был благородного происхождения: его высокий и изящный стан, белокурые волосы, взгляды полные нежности, аристократическая рука, изящество манер, изысканный разговор, в особенности же его титул, льстили самолюбию молодой вдовы. Другой, плебейской породы, был не так блистателен; но зато его страстная энергия, крепость мускулов, звук голоса, черная, многообещающая борода действовали с неотразимым соблазном. В его присутствии она не могла удержаться от сладостного трепета. Правда люди равнодушные не столь лестно смотрели на эти две личности. Про первого, чужеземца, говорили, что большую часть своего состояния он промотал на безумные шалости своей юности, потом странствовал по свету и искал приключений, а теперь, чувствуя приближение пожилого возраста, хочет закончить свою карьеру хорошим буржуазным браком. Второму еще предстояло составить карьеру, и он шел к своей цели с неразборчивостью спекулятора, у которого нет ни стыда, ни совести. Побуждаемая обоими соперниками объяснить свои намерения, молодая женщина не знала, на что решиться. Ей бы хотелось, говорила она смеясь, взять их обоих!.. Однако же надо было решиться:

втайне она более склонялась на сторону брюнета, но победил блондин. Вы, пожалуй, спросите, что побудило ее изменить своим чувствам и рискнуть счастьем своей жизни, а может быть и своей честью? Это тайна женского сердца, в котором тщеславие сильнее самой любви. Она нашла, что блондин будет более сговорчивым мужем; что у него будет гораздо более представительности в свете, на балу, на прогулках; потом ей хотелось доказать сплетникам, что ею вовсе не руководит страсть. Она не могла так хорошо сдерживать себя, чтобы кое-что из её слишком сильной привязанности осталось незамеченным; поэтому она великодушно жертвовала ею. Кто умел читать в глубине её души, быть может, сделал бы следующее странное открытие: она вполне понимала, говорила она самой себе, что в виду интереса её детей, деловой человек был бы лучшим управителем, чем дворянин; и надеялась, не смея себе в этом признаться, что этот избранник её сердца, в силу любви, которую она дала ему заметить, останется ей верен. Исполнив жертву, требуемую её достоинством, она в преданности честного человека найдет награду своей добродетели. Женщина, обуреваемая любовью, есть бездна лукавства. Короче, так ей было угодно, и ничто не могло изменить её намерения.

С выходом её замуж, страшная ненависть возгорелась в сердце отставленного ухаживателя. Он кричал об измене и клялся отмстить за себя. — «Я буду владеть ею, говорил он, добровольно или силой, клянусь бородой ея мужа.» — Против последнего тотчас же организуется целая система глухого преследования и разных неприятностей. Против него вчиняются процессы, на него восстанавливают его поселян; портят его прислугу, подкупают его поверенных; его леса вырубают, скот увечат; его лишают в стране всякого значения, губят его в общественном мнении. Если происходят какие-нибудь выборы, на его долю не выпадает ни одного голоса. У его супруги, рассчитывавшей на жизнь полную почестей всякого рода, сердце пробито этими оскорблениями, как стрелами. Она знает причину всего этого, но никому не может поверить своей печали, даже мужу, который с своей стороны, взяв от жены полную уверенность и сделавшись распорядителем, бросается в разные предприятия, делает покупки, расширяет круг своих операций, а в неудачах ищет утешения, как прежде, в пьянстве и разврате. Снова появляются на сцену родственники, советуют если не разъехаться с мужем, то по крайней мере отнять у него распоряжение имением, потому что это единственный способ, замечают они несчастной, не сделаться впоследствии в тягость своим детям. — Но она говорит: «Я не могу жаловаться на своего мужа, который постоянно ко мне внимателен; что же касается до того человека, который стал нашим врагом, то я знаю, откуда происходит его гнев и не могу ничего для него сделать.» С одной стороны она подмазывалась к своему мужу, с другой услаждалась, как знаками любви, отравленными стрелами того, чью страсть она отвергла. Никогда она не любила его так сильно.

«Я согрешила против любви, решила она наконец; надо призвать на помощь любовь.» — Она послала доверенное лицо с богатыми подарками спросить оракул Венеры в город Геллеспонт, в котором была жрицею знаменитая Геро, любовница Леандра. — «Вопрошающая, ответил оракул, может выйти из затруднения только одним способом: сохраняя мужа, вернуться к своему возлюбленному.» — Судите о её изумлении!

Она была честной женщиной; она слишком уважала мужа, детей и достоинство матери семейства; а между тем ответ оракула проник ей в глубину души. Женское лицемерие отличается от мужского тем, что мужчина, когда остается один, снимает с себя маску, между тем женщина сохраняет свою. Она лжет самой себе. — «Оракулы загадочны, сказала она самой себе; я знаю, что мне следует сделать.» Она зовет к себе неумолимого преследователя, обращается к нему с нежными упреками, спрашивает у него, чем провинились относительно его её муж и дети, признавая таким образом одну себя виновною; просит для них, но не для себя, его снисхождения, давая понять, что считает себя недостойной прощения; наконец вырывает у него обещание примириться. Для неё был истинным торжеством тот день, когда она вновь свела этих двух людей, бывших некогда друзьями. Итак, своим благоразумием она сделала более, чем все советы. Да здравствуют любовь и добродетель! Что невозможно для женщины, в которой ум равняется красоте? Она заставит побрататься соперников, обняться льва и дракона.

Весь город заговорил об этом примирении, которое так деликатно было выпрошено и так прилично заключено. Разные писаки, литературщики и синие чулки, приглашенные на пир, расхвалили в стихах и прозе эту благородную женщину, о которой скромно, но с чувством упомянули также газеты и даже академия. Однако не даром достигнут был этот успех! Не прошло и трех дней как условие, поставленное оракулом, было исполнено.

Но результат был совсем другой. Любовник был ревнив, как тигр: он хотел властвовать один; каждый день он осыпал упреками свою любовницу за то, что она не могла решиться — или прогнать мужа с супружеского ложа или сама оставить его. Она оказывалась неверною и любовнику, и мужу. С своей стороны муж, равнодушный и неспособный, сделавшись обязанным, протеже и креатурой того, кто его бесчестил, с каждым днем пьянствовал и опускался все более и более. По временам, однако он порывался выказать свою власть и грозил выгнать своего соперника вон. Но эти угрозы ничего не могли сделать: любовник мало по малу сделался управителем, распорядителем, поставщиком, комиссионером и банкиром дома. Все дела шли через его руки; он делал займы, покупки, продажи, отсрочки, любовница его удивлялась его глубокой опытности. Так как собственности малолетних нельзя было продать, то сделан был заем под обеспечение десятилетнего с неё дохода. Существование семейства стало тогда в зависимость от человека, который его обирал... Это был ад, скандал, ставший предметом толков во всей стране. Между тем сыновья от первого брака подросли и возмужали. — «Матушка, говорили они ей, хочешь, мы тебя избавим от этих двух господ? Мы начнем с брюнета; вытолкав его вон, мы легко разделаемся и с другим». — «Нет, нет, кричала она в отчаянии. Что обо мне скажут, Боже мой! Неужели вы хотите меня обесславить?» — Она уцепилась за свое бесчестие, и, как Федра, оправдывала его *заботою о своей репутации*.

Наконец она решилась снова посоветоваться с оракулом. На этот раз она отправилась сама, останавливаясь по дороге во всех храмах, посвященных Любви и Венере. — «Богиня, сказала она, прибыв в святилище, ты меня обманула. Я последовала твоему

совету. Я всем пожертвовала для любви и удовольствия; а теперь я несчастнее прежнего.» — «Ты сама себя обманула, безумная, сурово ответила Венера. Знай, что оракул открывает смертным лишь то, чего они сами желают во глубине своего сердца. Ты искала распутства и насладилась им. Можешь ли ты думать, что Венера сделалась твоей сообщницей? Но тогда ты, пожалуй, обвинишь всех богов. Называясь Венерою, я в сущности Справедливость, Красота и Стыдливость. У меня никогда не было ни мужа, ни любовника; Вулкан, Марс и Адонис для меня ничто. До создания людей и богов, я сама из себя породила Граций, Любовь и Добродетели. Я создала мир, и основала первое общество и последнее мое порождение есть Свобода. Для тебя же я стану теперь Угрызением совести, которое без отдыха будет преследовать тебя. Иди, нечистая, и поразмысли о моих словах. Твой срам загладится лишь в тот день, когда ты согласишься быть высеченной публично своими собственными детьми.»

Но ничто не могло заставить это недостойное существо покинуть мужа или любовника. Беспорядок и сумятица продолжали увеличиваться; сыновья достигли совершеннолетия и потребовали свое наследство. Это послужило знаком развязки. Вместо сбережений опека наделала лишь огромных долгов. Большая часть дохода перешла в руки управителя: он стал богат; что же касается до супругов, то они лишились имущества, объявлены были банкротами и остались без копейки. Она покинула тот кров, который принял ее девственницею и который был свидетелем её материнских радостей, и отправилась в даль, со своим безумным мужем, жить пенсией, выданной ей детьми. Состарившись в разврате, она умерла в пренебрежении. Никто не присутствовал на её похоронах.

Надеюсь, любезный читатель, что ты сам поймешь эту притчу; однако же я постараюсь объяснить ее, как будто ты нуждаешься в истолкователе. На западе Европы, в самом умеренном на земле климате, живет многочисленная нация, одинаково одаренная природою и умом, самая общительная из всех, которая одно время, по видимому, предназначена была служить для других советом и примером и которую прозвали *великой нацией*. В продолжении 8 веков, от 987 до 1788 г., она составляла монархию, процветала и увеличивалась, как вдруг, овдовев после своих королей... Но о чем придется мне рассказывать? У меня голова вертится, как у Перрена, Дандена, от выборов, оппозиций, недоразумений, присяг и притч, и я не знаю, как мне выразить то, что я желаю сказать. Это, однако, вещь очень простая. Уже 50 лет как Франция ввела у себя конституционную систему, т. е., состоя некогда во владении королей божественного права, своих сеньоров и господ, она, после кратковременного вдовства, снова вышла замуж посредством хартии или конституции. Она снова стала королевством, империей или президентством; названия разные, но сущность одна: известно, что Франция всегда сходила с ума от знатных титулов. Но, вступив в свои обязанности, принц супруг должен был допустить к надзору за ведением дел прежнего друга сердца своей жены, известного под именем или кличкой *демократии единой и нераздельной*. Напрасно говорили вдове: не заключайте второго брака, оставайтесь свободной; управляйте и распоряжайтесь собою сами; а так как ваша область так велика, что не по силам одному человеку или даже целой компании, то разделите ее на провинции, независимые, автономные, соединённые между собою

единственно федеральной связью. Особенно бойтесь дуализма; покоряйтесь своему главе, если вы не можете без него обойтись, и старайтесь действовать в согласии с ним. Но берегитесь давать ему помощника, берегитесь допустить на свою постель любовника, прелюбодея, так как он станет для вас тираном хуже мужа, и вы разоритесь и осрамитесь... Франция не послушалась предостережения... Она вышла замуж, завела любовника, и её несчастья разрослись подобно её любодеяниям. *Монархия и демократия*, антагонистические и несогласуемые элементы: таково роковое соперничество, на котором зиждется наше политическое хозяйство или система. Принц пользуется супружеским званием и его правами; положение демократии, представляемой выборными от представителей, называемыми оппозицией, переменчиво. То, подобно акционеру принца, она принуждает его давать тяжкие отчеты, указывает ему, как вести дела, гонит его из дому и с постели, то, в свою очередь оскорбленный супруг одерживает верх и принуждает к отступлению демократию, едва оставляя на долю ея представителей кое-какие любовные крохи, недостаточные для насыщения их здорового аппетита. После 2 декабря друг сердца обедал на кухне; теперь же, вследствие последних выборов, он получил приглашение являться к господскому столу. Берегись хозяин! Чтобы ни случилось, ясно, что так как оба соперника преследуют совершенно одну и ту же цель и желают совершенно одного и того же, именно исключительного владения и женщиной, и имуществом, то Франции нет никакого выигрыша от этой перемены. Пускай она бросается в объятия мужа или на шею своего любовника; пускай делит себя между ними и пытается, ласкаясь к обоим, примирить их, ничто не поможет ей. В конце концов из её же личных доходов будут уплачиваться издержки ссор и примирений.

Что еще сказать вам? Вместо одного господина, который сорвал цвет ея юности и которого она звала *своим благородным супругом*, Франция своей системой конституционной полиандрии отдала себя на жертву двум тиранам, стала проституткой. Прелюбодеяние, — как смягчение супружеской власти и предохранительное средство против развода; блуд в политическом семействе, служащий примером распутству в семействах частных; такова система, придуманная в 1791 г., освященная в 1814, скрепленная в 1830, и для восстановления которой город Париж дал ныне 153.000 голосов. Что вы скажете об этом, гордые демократы? Знаете ли вы теперь, что такое ваша оппозиция? Сводничество. Если эта басня кажется вам не убедительною, то у меня есть к вашим услугам целый арсенал неотразимых аргументов, основанных на праве и факте. Но наперед следует вам доказать, что я уже не один так думаю, что 18.000 протестовавших 1 июня¹ стали *легионом* и что вы имеете перед собою решительную партию, готовую вычеркнуть вас из политического словаря.

(Рукопись осталась неоконченной)

¹ Прудон подразумевает июньское восстание 1848 г.

Письмо к редактору газеты La Presse

Париж, 29 мая 1863 г.

Господин редактор,

Я дал себе слово не принимать никакого участия в избирательных прениях. Я уже высказал мое мнение об этом предмете в печати и состояние моего здоровья в настоящее время не позволяет мне никакого умственного труда. Но последние статьи г. Жирардена, напечатанные в недавних номерах вашей газеты, касательно уклонения от подачи голосов, заставляют меня сделать над собой усилие и нарушить молчание.

Узнав из газеты, что предварительно вотирования должны были обсуждаться *два великие, два прекрасные вопроса* : 1-й, об уклонении от подачи голосов; 2-й, о том, каких усовершенствований можно ожидать от общей подачи голосов — г. Жирарден позволил себе увлечься до оскорбительных выражений относительно тех, которые уклонились от подачи голосов; он называет их *умами ложными, дикими, политическими евнухами, революционерами, сектаторами*, поведение которых *нетерпимо, фанатично и подло*. К чему такой поток ругательств? Объяснимся.

Но прежде следует спросить, кто виноват, что оба эти вопроса, в сущности, составляющие одно и то же, не были обсуждаемы? Брошюра моя (*les Démocrates assermentés*), касательно общей подачи голосов, в которой был изложен двойной вопрос — каких усовершенствований можно ожидать от общей подачи голосов в будущем и что в настоящем необходимо воздержаться от подачи голосов — появилась 20 апреля. Брошюру эту получили все газеты, следовательно г. Жирарден мог прочесть ее, отчего же он не начал прения? Партия, уклонившаяся от подачи голосов, не располагает никакой газетой; почему же *la Presse, le Siècle, l'Opinion Nationale, le Temps* не предложили нам своих столбцов? — Декларация или протест, уклонившейся партии (*les abstentionnistes*), адресованный к *демократическим избирателям*, помечен 17 мая, т. е., тринадцать дней до баллотирования, почему же самые эти газеты отказались поместить у себя этот протест? Против декларации этой напечатана была во всех газетах коалиции, авторами *Manuel électoral*, статья, доказывающая незаконность и недействительность немых бюллетеней; почему еще, когда подписавшие декларацию послали свое возражение, *la Presse*, не принимая во внимание права ответа, упорствовала в своем отказе поместить этот ответ на своих столбцах? Было сделано все, чтобы заглушить наш голос; а 28 мая, за три дня до выборов, г. Жирарден, сделав себя нашим клеветником, восстал против нас,

сказав: будем вотировать, теперь поздно обсуждать!.. Поступок этот будет разобран, если силы мне позволят, и могу уверить, что не к чести г. Жирардена. Теперь же достаточно и того, что я заявил о нем.

Г. Жирарден позволяет себе писать в насмешливом тоне: «Абстенционисты волнуются; абстенционисты совещаются; абстенционисты выпускают один циркуляр за другим, одну газетную статью за другой, чтобы помешать состояться голосованию, и т. д.» — По правде же сказать, г. редактор, мы держимся как нельзя более спокойно; мы не волнуемся, не собираем комитета и нисколько не образуем из себя тайного общества. Нас оказалось семнадцать человек, семнадцать граждан, собравшихся с разных точек политического горизонта, одни из нас принадлежат прошедшему и представляют демократическую традицию, другие обращены более к прогрессу, многие из нас никогда не встречались друг с другом, половина из нас свиделась в первый раз, прочие же прислали свое одобрение словесно или письменно. Надо полагать, что демократическая кандидатура очень ослабела, если теперь кричат о конспирации абстенционистов. Мы, как я сказал уже выше, ограничились тремя публикациями: брошюрой, протестом и возражением из четырех строк. Далее этого мы не пошли. Надо полагать, что это действие было весьма могущественно, если оно потрясло судебную палату, мастерские, биржу, церковь, двор, город и внушило против нас такой наплыв ярости и возбудило к нам столько гнева!

Да, мы вотируем немymi бюллетенями, и вместе с тем подтверждаем, что уважение к принципам, святость присяги, требуют, чтобы и демократия действовала точно также; да, мы утверждаем, что подобный способ уклонения, достодожно мотивированный, совершенно законный и есть также действие, проявленное в высшей степени. Было ли опровергнуто право наше, на котором основывается наш тезис? Нет; действительность его признается всеми единогласно. Отвергаются ли причины факта, подтверждающие право это? Но факты очевидны для всех, они бьют в глаза, их можно резюмировать в двух словах: общая подача голосов, руководимая правительством, задавленная газетами монополии с согласия выступивших депутатов, не пользуется всей своей независимостью. На что же опирается г. Жирарден в своем нападении на нас, нас, которые по чувству демократического достоинства и по чувству самосохранения, советуем демократическим избирателям вотировать немymi бюллетенями! Он, с одной стороны вместе с гг. Оливье и Симоном, говорящими в пользу своих личных кандидатур, называет наше уклонение бездействием: кто уклоняется от подачи голоса, тот уничтожает себя, и т. д.; — с другой стороны вместе с жалкими авторами Manuel'я, озабоченными в настоящее время гораздо более своим легистским авторитетом, чем демократическим правом, и для которых одной партией меньше в общей подаче голосов — есть уже выгода, называет вотирование немymi бюллетенями незаконным. Вот почему нас обвиняют в нетерпимости, фанатизме и подлости. Раз навсегда покончим же с этими презренными обвинениями.

Прежде всего мне следует сказать, что уклонение от подачи голосов есть акт чисто консервативный. Демократия в настоящее время похожа на тяжущегося, в отношении которого правила судопроизводства не соблюдаются и для которого неявка в

суд сделалась последним ресурсом. Адвокаты, авторы Manuel'я, не отвергают пользы неявки, они каждодневно в гражданских, коммерческих и уголовных процессах советуют ее своим клиентам. Как же осмелятся эти глубокие юрисконсульты утверждать, что между частным лицом, ходатайствующим за свою свободу, честь, собственность, — и гражданином, призванным высказать свое мнение о политике правительства, не существует никакого тождества? В таком случае я берусь доказать им, что все правила судопроизводства гражданского и уголовного суть результат политических гарантий, которые во всяком свободном положении конституция обеспечивает за гражданами.

И так, уклонение от подачи голосов посредством немых бюллетеней вполне легально. Доказательством тому во 1-х, то, что голосование не обязательно; во 2-х, что когда избиратель решается вотировать, его выбор свободен; 3, что баллотировка тайная; 4, что не полагается никакого штрафа тому, кто уклоняется или не находит возможным вотировать; 5, наконец, как то сказал наш друг Шоде в своем ответе на статью адвокатов, что в иных случаях для вотирующего избирателя выгоднее выразить свое сомнение, свое отвращение, свой протест немым бюллетенем, чем отвечать на коварно предложенный ему вопрос *да* или *нет*. Авторы Manuel'я должны остаться довольны этими доводами; но если они опять будут возражать, то я обещаю им привести новое доказательство.

Другого более удобного случая для немого вотирования как тот, который представляется ныне, еще не было. — Здесь уклонение есть выражение высшей степени действия; оно по энергии своей берет верх над действительным вотированием, как бы то ни было, потому что оно имеет целью предоставить предварительно каждому выбору этот великий и прекрасный вопрос — *какие усовершенствования должны войти в механизм общей подачи голосов*, для того, чтобы он мог нормально действовать.

Напротив, г. Жирарден кричит нам, цитируя монсиньора Дюпанлу и его собратий по епископству: *Вы ничему не можете помешать вашим отказом вотировать, а лишаетесь всего; вы жалуетесь, что другие плохо видят, а сами вы лучше ли увидите, когда закроете глаза, и т. д.* Монсиньор орлеанский превосходный ритор; к несчастью вопрос касается не его.

Я отвечаю прелатам, что, отказываясь от подачи голоса, я ничего не уступаю; напротив, и соблюдаю, и сохраняю все; здесь, чтобы победить произвол, не значит бороться против самого себя и делаться помощником этого произвола, но оставить его истощиться в своем собственном действии. Я возвращаюсь опять к приведенному мною выше сравнению между частным тяжущимся и вотирующим избирателем и спрашиваю, с которых пор тяжущийся за неявку в суд считается потерявшим свое право; не бывает ли напротив? сколько людей спасли себя неявками, тогда как прениями несомненно погубили бы себя! Если бы несчастный Лезюрк мог, подав апелляцию, не являться и оставаться в тюрьме до того времени, когда истина открылась, то он спас бы свою голову и семейство его не вынуждено было бы

ходатайствовать о восстановлении чести его имени.

Монсieur Дюпанлу и его коллеги достаточно говорят о всем этом в своем поощрении нас к вотированию. Для современной церкви, различествующей в этом случае с церковью средних веков, равно как и для г. Жирардена и ему подобных, все правительства одинаковы и стоят одно другого, начиная с автократии и кончая федерацией. Равнодушие к общественному праву, а потом смешение принципов и мнений, вот их догм. Что им за дело до того, что будет несколько более или несколько менее стеснения в процессе всеобщей подачи голосов. Им ненавистна демократия и ее стремления и принципы, Им ничто не понятно в нашей добросовестности. Поэтому, нам ничем не следует пренебрегать, что может способствовать к точному определению нашего положения и нашей мысли. В то время как правительство, сопровождаемое епископатам, поддерживаемое консервативным и реакционерным большинством и частью самой демократией, видит в общей подаче голосов лишь политическое орудие, с которым опасно обращаться и которое требует высшего руководства власти, — в наших глазах общая подача голосов, организованная согласно своему закону, есть учреждение демократии, и мы не должны и не можем ничего терпеть, что может нарушать ее; неприкосновенность общей подачи голосов есть палладиум свободы. По поводу этого мы скажем вместе с Боссюэтом, *что есть принципы, против которых что бы не делалось, ничто само по себе*, и прибавим еще, что во имя этих принципов мы устанавливаем формы, условия и гарантии общей подачи голосов.

Что ответил бы монсieur Дюпанлу, если бы ему предложили вотировать о сформировании собора, составленного из духовенства всех культов и имеющего целью соединение всех религий? Монсieur Дюпанлу ответил бы, что соглашение невозможно между католической религией и протестантством, иудейством, магометанством и проч. Он отказался бы вотировать, и никто не нашел бы против этого возражения. Мы в отношении своих политических убеждений точно тоже, что монсieur Дюпанлу в отношении своего религиозного верования. Мы думаем, что из всех форм правления лишь одна истинна, а именно форма, вытекающая из общей подачи голосов. Из неё вытекает все право общественное, административное, гражданское, экономическое, криминальное, политика, семейное начало и собственность.

Постановив это, мы формально отказываемся от всякого произвольного действия, и если что нам внушает отвращение, то это именно равнодушие к правительственным формам, это соглашение несогласуемых мнений, эта ассоциация голосования, которую представляют нам люди различных школ, подобно гг. Жирардену, Монте-ламберу и Дюпанлу.

Называйте нас чем хотите, *сектаторами, революционерами*, названия нас не пугают, лишь бы они были выяснены. Без сомнения, мы составляем секту, секту, рожденную только вчерашний день и помимо нашей воли; мы в меньшинстве нашем бессильны, но в нас есть нечто, что нас отличает от массы и что заключается в том, что мы

признаем свои принципы, подтверждаем учреждение демократии и не краснеем от общей подачи голосов. Противники же наши не имеют всего этого; у них нет ни принципов, ни политической совести, они не верят ни в общую подачу голосов, ни в божественное право, ни в конституционную монархию. Без сомненья мы революционеры; но и реформаторы государств были ими, по крайней мере в продолжение того времени, которое требовалось для учреждения государства, и счастлив тот народ, у которого инициаторская власть без необходимости не длила своей диктатуры! Правительство, говорю я, революционно, оно бывает таковым каждый раз, когда, возникая из развалин, оно вынуждено действовать противоположно разрушенному принципу и в силу того принципа, который оно произвольно учредит и который оно не успело еще ввести в закон. Таким образом в 1789 учредительное собрание было революционно; конвент, консульство, реставрация, июльская монархия были также революционными; республика же 1848 совсем не была революционной, она не признала своего принципа и ее невежество ее убило; 2 декабря было революционно, но было им слишком долго... И мы в свою очередь, уклоняющиеся от подачи голосов, мы будем также революционны; но успокойтесь, гг. Жирарден и де-ла-Геронньер и все те, которые надеваете личину страха, мы свое дело не затынем и скоро его покончим.

Что сказать мне о присяге? Для гг. Жирардена, Дюпанлу и прочих людей, придерживающихся политическому равнодушию, присяга не имеет ни смысла, ни важности. Чем рискуют они? Их присяга продержится столько, сколько продержится правительство, которому они присягнули и которое они нисколько не намерены опрокинуть, равно как и принести ему какие-либо гарантии. Живи, если можешь, говорят они ему, защищай себя само, мы же умываем руки!.. Для нас же, уверенных в том, что в организованной общей подаче голосов мы обладаем истинно демократической конституцией; что нашими желаниями, трудами, всеми усилиями мы стремимся к осуществлению вашей идеи, мы, вера которых имеет принципы и обязывает нас предвидеть тот случай, когда присяга, принесенная государю, может сделаться несогласуемой с теми действиями, которые нам предписывает наша вера, — мы отказываемся от присяги. Присяга, данная нами, была бы апостазия или клятвopеcтyплeниe; нам невозможно было бы избежать этой дилеммы.

Без сомненья, уклоняясь от подачи голосов, мы тем удаляемся на время, а может быть и очень на долго, от власти и её выгод. Почести депутатов и все выгоды слияния партий не для нас. Самая популярность и та бежит от нас; современная генерация целой массой вступила на пут, на который мы никогда не вступим. Мы умрем при нашей задаче, прежде чем взойдет заря, о которой мы мечтали. Пусть так. Мы пойдем вперед без надежды и даже против надежды. Мы останемся верны нашему прошедшему, нашей политической религии, нам самим. Мы будем помышлять о наших братьях, умерших в изгнании, в тюрьмах и на баррикадах; мы облобызаем прах их и скажем, подобно Маккавеям: «умрем в нашей простоте» — *moriamur in simplicitate nostra!*..

Но что я говорю! Разве мы не вознаграждены уже той анафемой, которую гремит

против нас г. Жирарден и прочие, кому наше воздержание, обзываемое инерцией, бессилием, самоубийством, служит помехой.

Интриганы, без уполномочия, предприняли из-за собственных выгод сочетать браком императора с демократией 1848 г. Условия контракта, как они говорят, должны были быть — честная и умеренная свобода; и они называют это венцом здания. Сами же они, сделавшись министрами, хотят, чтобы демократия довольствовалась тем. Но для этого необходимы были две вещи: заставить эту новую демократию вотировать как один человек без уклонения и завербовать ее присягою её кандидатов. Все казалось было готово для брачной церемонии; но вдруг послышался голос: этого нельзя! Голос выходит из небольшой группы людей, о которых никто не думал. Брак не может состояться, ему не бывать, во-первых, потому, что невеста не свободна располагать своей рукой; а во-вторых, она дала обет девства.

И вот брак не состоялся, к великому прискорбию, г. Жирардена и его аколитов. Непризнанные ни одной стороной сваты вынуждены предложить свободный союз, вне всякого влияния партий, нечто в роде морганического брака между императором и старым обществом улицы Пуатье, которое в 1848 г. расточало свои улыбки Людовику-Наполеону и год спустя увидело себя столь оскорбительно презренным им. И вот поэтому-то г. Жирарден, дав прежде свой поцелуй примирения г. Карно и его партии, ныне горячо целует гг. Одилона-Барро и Тьера. Так называемые депутаты-демократы, если баллотировка им поблагоприятствует, будут присутствовать при отходе ко сну королевской фаворитки и станут держать подсвечники.

Исправляйте вашу должность сводчика, г. Жирарден, возбуждайте избирательную толпу, сзывайте, сзывайте к вашей урне потоки бюллетеней, но воздержитесь обзывать евноухами граждан, неумолимое *veto* которых опрокинуло ваш честный проект. Знайте, что евноухи суть те, чья тщеславная мелочность готова сойтись со всяким режимом, и кто хвастается своим республиканским образом мыслей для того, чтобы придать более весу своему сближению и в ком присяга кастрировала совесть! Ступайте, если смеете, к г. де-Персиньи, не давшему вам уполномочия, скажите ему, что он напрасно пугается кандидатуры г. Тьера, вы в замен приносите голоса Карно, Корбона, Вашеро, Жюль-Симона, Мари, Пелльтана, Морена, Оливье, Жюль-Фавра, Дрео, Кламажерана, Флоке, Герольда, Геру, Гавена, Нефцера, но не хвастайтесь тем, что для императорской системы вы приобрели нашу молодую демократию. Здесь единство весьма важно, а мы публично протестовали. Что же касается толпы, обманутой вами, дезорганизованной, спутанной вами, с повязанными глазами бросающейся к урнам, то она неспособна завершить дело, к которому вы ее призываете. Она не может ни помирить, ни компрометировать. Мы же действующие с знанием дела, мы своим обдуманном уклонением уничтожаем все её голоса. Бюллетени, которыми вы запасааетесь, как бы их число ни было велико, не будут иметь большого значения, чем пламя плошек, зажигаемых во время публичных празднеств, и которые, будучи зажжены наемной рукой, горят сегодня в честь

короля, завтра в честь республики, а после завтра в честь императора.

Что же касается эпитета *подлости*, которую приписывает нам г. Жирарден и осмеливается при этом еще спрашивать нас, зачем мы не возмущаемся подобно полякам, то мы не считаем даже нужным на это отвечать. Г. Жирарден до того забылся, что даже не заметил, что прибегает в отношении нас к гнусному способу — подстрекательству. Нет сомнения, что между нами есть еще люди, которые уже доказали себя и которые не прочь и теперь еще, в случае неудачи, поплатиться своей особой; прочие же последуют за ними по мере сил. Но довольно для каждого дня своей жертвы. Нас семнадцать человек, от двадцати до шестидесятилетнего возраста. Пусть же нас оставят засевающими в наших траншеях; в них мы недосыгаемы и непобедимы.

Честь имею кланяться.

П. Ж. Прудон

ПРИМЕЧАНИЯ

Библиотека Анархизма
Антикопирайт



Пьер-Жозеф Прудон
Политические противоречия
Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции)
1870

Прудон П.Ж. Политические противоречия: Теория конституционного движения в XIX столетии (во Франции). Изд. 2, доп. URSS. 2011. 168 с. ISBN 978-5-396-00331-6

ru.anarchistlibraries.net